

ПЕРЕСКЕТ

1

БОРИС ЗАЙЦЕВ, МИХ.
ОСОРГИН, ФЕДОР СОЛОГУБ, ГЕОРГИЙ ЧИ-
КОВ, МАР. ЦВЕТАЕВА, АЛЕК-
САНДР ЯКОВЛЕВ.



ИЗДАТЕЛЬСТВО Н.В. ВАСИЛЬЕВА

МОСКВА

1921.

ПЕРЕСВЕТ

1

**БОРИС ЗАЙЦЕВ, МИХАИЛ ОСОРГИН,
ФЕДОР СОЛОГУБ, ГЕОРГИЙ ЧУЛКОВ,
МАРИНА ЦВЕТАЕВА, АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВ**

МОСКВА

1921

Р.В.Ц. (Москва) Вх. 315.

3000 экз.

39 тинография М. С. Н. Х. (Путниковский пер., д. 3).

СТИХИ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

I.

Мечтанья не обманут,
Все сбудется в веках,
Из камней зданья встанут,
Творимые в мечтах.

Как воск, растают узы.
От голубых небес
Пленительные музы
Рассеют рай чудес.

Но нас тогда не будет.
Поникших в смертный сон,
Нас к жизни не разбудит
Пасхальный перезвон.

Нам надо жить в обиде,
Не ждать земных наград,
Тебя мы не увидим,
Земля—цветущий сад.

II.

Порозовевшая вода
О светлой лепетала карме,
II, как вечерняя звезда,
Зажегся крест на дальнем храме,

И вспомнил я степной ковыль
И путь Венеры к горизонту,
И над рекой туман, как пыль,
Легко навеивал дремоту,

И просыпалася во мне
Душа, умершего в Египте,
Чтобы смотреть, как при луне
Вы, люди нынешние, спите.

Какие косные тела!
И надо ли бояться смерти!
Здесь дым, и пепел, и зола,
И вчеловеченные звери.

III.

Заря на закате
Опоясалась тучей.
На воздух пускайте
Ваш кораблик летучий.

Беспечные дети!
На безмерную шалость
Дерзайте, развеите
Безнадежность, усталость.

Покровы тумана,
Дымы былей сгоревших—
Для нас только тайна,
Не для вас, взлетевших.

Вам голос поэта
В потемнении неба,
Звучит, словно флейта
Уходящего Феба.

Федор Сологуб.

ИЗ СТИХОВ К БЛОКУ.

„Тебя, как первую любовь
России сердце не забудет“.

(Т ю т ч е в).

Ты проходишь на Запад Солнца,
Ты увидишь вечерний свет,
Ты проходишь на Запад Солнца,
И метель замечает след.

Мимо окон моих—безстрастный
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.

Я на душу твою—не зарюсь!
Нерушима твоя стезя.
В руку, бледную от лобзаний,
Не вобью своего гвоздя.

И по имени не окликну,
И руками не потянусь.
Восковому святому лику
Только издали поклонюсь.

И под медленным снегом стоя,
 Опущусь на колени в снег,
 И во имя твое святое
 Поделю вечерний снег.—

Там, где поступью величавой,
 Ты прошел в гробовой тиши,
 Свете тихий—святыя славы—
 Вседержитель моей души.

Москва, 2-го мая 1916 г.

Думали—человек!
 И умереть заставили.
 Умер теперь. Навек.
 Плачьте о мертвом ангеле.

Он на закате дня
 Цел красоту вечернюю.
 Три восковых огня
 Треплются, лицемерные.

Шли от него лучи—
 Жаркия струны по снегу!
 Три восковых свечи—
 Солнцу-то! Светоносному!

О поглядите—как
 Веки ввалились темныя

О поглядите — как
Крылья его поломаны!

Черный читает чтец,
Шепчутся губы праздные....
Мертвый лежит певец
И Воскресенье празднует.

Москва, 9-го мая 1916 г.

Как слабый луч сквозь черный шорох адов—
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.

И вот, в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим,

— Откуда-то из древних утр туманных—
Как нас любил, слепых и безымянных,

За синий плащ, за вероломства грех...
И как вернее всех—ту, глубже всех

В ночь канувшую—на дела лихия!
И как не разлюбил тебя —Россия!

И вдоль виска—потерянным перстом
Все водит, водит... И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнцем звать—и как *не* встанет....

Так, узником с собой наедине,
(Или ребенок говорит во сне?)

Предстало нам—всей площади широкой!—
Святое сердце Александра Блока.

Москва, 28-го русск. апреля 1920 г.,

в день, когда взрывались пороховые погреба на Ходынке,
и я впервые увидела Блока.

Други его— не тревожьте его!
Слуги его— не тревожьте его!
Было так ясно на лице его:
Царство мое не от мира сего

Вещи вьюги кружили вдоль жил,
Плечи сутулая гнулись от крыл.
В певчую прорезь, в запекшийся пыл—
Лебедем душу свою упустил!

Падай же, падай же, тяжкая медь!
Крылья извелили право: лететь!
Губы, кричавшие слово: ответь!
Знают, что этого нет— умереть!

Зори пьют, море пьют,—в полную сыть
Бражничают.—Панихида не служит!
И с облаков повелевшего: быть!
Хлеба достанет—его накормить.

Москва, 2-го р. августа 1921 г.,
девятый день.

Марина Цветаева.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ.

I.

ГОЛОСА.

Из глубины глухих веков
Доатлантической эпохи
Мне слышится ужасный зов
И чьи то вопли, чьи то вздохи.
На незнакомом языке
Взывает из курганов племя,
Пытаясь победить в тоске
Законом скованное время.
И сам я, слабый сын земли,
За пращуров, ломая руки,
Молю во прахе и пыли:
Господь! Дыханьем утоли
Их неоправданные муки.

24 августа 1920 г.

II.

ВОЛНА.

При блеске молний, в смуте гула,
Широкошумная волна
К нам доплеснулась и метнула
Безумной бури семена.

О, как ужасен голос влажный
 Ночных таинственных глубин!
 И буре человек отважный
 Противоборствует один.
 Ужели ночь лишь откровенье
 Души проснувшейся на миг?
 И буйно-шумное волнение
 Ужели только сновиденье
 О смертный, на путях твоих!

12 февраля 1920 г.

III.

СТРЕЛА.

Нет, не убийства хмель и темь, не сила
 Стихий вольной без оков и уз,
 И не истории тяжелый груз:
 Единая любовь меня сразила.
 Безумно сердце. Стала жизнь постыла.
 И жаждущей стрелы слепой укус
 Ужель язвит меня? Страстей союз
 Душе моей—как душная могила...
 Все сознать и быть слепым, как все;
 У ног любовницы твердить обеты,
 В саду меж роз, на утренней росе...
 Мне страшен страстный плеч. Свобода! Где ты
 В любви узрев зловещие приметы,
 Идем в страстях на-встречу злой косе.

7 июля 1920 г.

Георгий Чулков.

МАРИЯ ГАМИЛЬТОН.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Мария Гамильтон (Hamilton) принадлежала к одному из древних и знатных шотландских семейств. Вероятно, можно установить ее родственные связи с тем герцогом Гамильтоном, который окончил дни свои на плахе, как роялист, вскоре после казни Карла I-го. Возможно, что героиня поэмы, фрейлина Екатерины, супруги Петра, приходилась племянницей известного боярина Артамона Матвеева, женатого на шотландке Гамильтон. Появилась леди Мария Гамильтон в свите государыни около 1713 года. У царя была любовная связь с прекрасной леди. Известна также дата трагической смерти Марши Гамильтон — 14 марта 1719 года.

Вокруг имени этой загадочной иностранки сложилось немало легенд, противоречивых и темных. Ее память оскорблена грубыми и страшными подробностями ее преступления. Однако, достоверность этих сообщений сомнительна: в ее деле были лжесвидетели. Нельзя также забывать, что орудием тогдашнего судопроизводства была пытка.

Автор поэмы предупреждает благосклонных читателей, что у него не было задания воскресить быт эпохи и возстановить внешнюю историческую правду. Поэтому автор надеется, что читатели великодушно извинят ему некоторые исторические неточности и анахронизмы.

21 марта 1920 г.

I.

Три розы серебристо-белых
И золотое сердце... Так
Судьбой начертаны пределы
Любви твоей. И вещий знак
В веках волнует мир подлунный...
Твой герб, Мария Гамильтон,
Певцы поют. И голос струнный
Тревожит замогильный сон.
Так на гербе—кровавом поле—
Не увядает белый цвет.
И смысл таинственной юдоли
Пусть нам поведаст поэт.

II.

В горах Шотландии счастливой
Ты родилась и там жила,
Но вот судьбою прихотливой
Ты к нам заброшена была.
О, леди Гамильтон, ужели
Иного не было пути?
Ужели ты без тайной цели
Решила жребий свой нести,

Нет, верю, жертва неслучайна
 Твоей любви и красоты,
 И жизнь твоя—как Божья тайна
 У заповеданной черты.

III.

На Север дикий, Север хмурый
 Пришла ты темною тропой,—
 Среди красавиц белокурых
 Была ты падшю звездой.
 Об этом знаю я преданье,
 Но что преданья и слова,
 Когда любовь - воспоминанье
 В душе моей еще жива!
 Ты и в падении—кометой
 Горишь над миром в высоте.
 Свободна ты. Ведь только это
 Ведет к божественной мете.

IV.

Печален был твой взор туманный,
 Когда была ты на земле.
 Твои улыбки были странны
 Для нас, коснеющих во зле.
 Я помню, как лучи сияли
 Из-за тумана синих глаз,
 Когда мы все, смутясь, читали
 О новых празднествах указ.

И помню, угасал невольно
 Наш буйный и угрюмый спор.
 И было страшно, было больно
 В твоём лице читать укор.

V.

Кто я, что помню все, что было?
 Ведь два столетия прошло
 С тех пор, как тайну ты открыла
 И жертвой оправдала зло...
 Не спрашивай. Молчи. Не знаю,
 Когда я жил и как я жил.
 Я только верю, знаю, чаю,
 Что все восстанем из могил.
 Не будет времени, Мария!
 Нас позовут на страшный суд...
 Самодержавная Россия!
 Ты слышишь? Ангелы поют...

VI.

И ты, о самодержец властный,
 Предстанешь пред Судьей миров.
 Ужели будем безучастны,
 Когда услышим трубный зов!
 В миг развернет ужасный свиток
 С мечом архангел. Судия
 Узрит безстрастно запись пыток
 И казней злых... Но бытия

Самой державы не измерить...
 На крыльях времени спеша,
 Летит в безверии и в вере
 Ее безумная душа.

VII.

И молвит царь: „За все отвечу
 Моей державной головой.
 Ты видишь, Судия, предтечу
 Твоей премудрости святой.
 Ужасных судорог личину
 Недаром на лице ношу.
 Господь! за русскую равнину
 Смиренно у Тебя прошу.
 Я поднял этими руками
 Ее из бездн до высоты.
 Я вел безкрестными путями
 На крест ее—туда, где Ты».

VIII.

Мне снилось: пал я, слыша трубы
 И песню херувимских сил.
 И возглас прогремел сугубый
 Над зевом рухнувших могил.
 Я трепетал, когда смешались
 Земля и звезды, прах и твердь;
 Когда внезапно сочтались
 Душа и плоть, любовь и смерть.

И облак красный скрыл мгновенно
 С державой мировой царя:
 Все то, что тленно, что забвенно,
 Сожгла надмирная заря.

IX.

Не мне, не мне косноязычно
 Рассказывать о страшном сне,
 Где все сплелось необычно
 Вверху, внизу, внутри, во-вне.
 Молчание. Вернусь на землю,
 Где есть Сегодня и Вчера,
 Где люди бытие приемлют,
 Как лев, растение, гора...
 Пусть это—призраки земные. .
 Но дышат и живут они,
 И страшен мне топор над выей
 И в эти, и в былые дни.

X.

И были сны земные страшны
 Там, во дворце царя Петра,
 Когда на царском пире брашна
 Вкушали с криками ура...
 Тогда князь-папа богохульно
 Глухился над святыней... Петр
 Один на празднестве разгульном
 Всем управлял—и пьян, и бодр.

И я не знаю, право, кем он
Был зачарован в эту ночь.
Внушил ему ужели демон
Марии гордость превозмочь?

XI.

На всепьянейшем пире диком,
На шутовском соборе том,
Ужели во хмелю безликом
Наш император стал рабом?
Веселая Екатерина,
Заметив, что бледнеет он,
Что на челе его морщина,
Как вещий знак, что он смущен,
Спешит к царю... Рукою нежной
Каснулась царского плеча.
Но царь в волнении мятежном,
Ей что-то крикнул сгоряча.

XII.

Сегодня все ему постылы.
Прикосновения жены
Ему и странны, и не милы.
Иная из иной страны
Волнует сердце государя
Таинственной красотой.
Вдруг кубком по столу удара,
Царь с откровенной простотой

Идет, сверкая темным взором,
 К прелестной леди Гамильтон.
 В ту ночь и славой, и позором
 Венчалась леди Гамильтон.

XIII.

Как тяжело раненая серна
 Таятся у ручья в снегу,
 Мария так в тоске безмерной
 Живет на Невском берегу.
 Ее любовник и владыка
 Ужасен и в любви своей.
 Его загадочного лика,
 Его мучительных очей
 Не вынести прекрасной леди...
 Она живет, в огне горя,
 И равнодушная к победе
 Над сердцем грозного царя.

XIV.

Когда над нею царь склоняет
 Свое надменное лицо,
 Как сердце в страхе замирает...
 Как странно царское кольцо
 Ей палец жжет... Как будто кто-то
 В тот перстень яду ей налил.
 Бежать? Но страшные болота
 Пугают душу. Нет и сил.

Преодолеть леса и топи.
 А император? Он—езде,
 Его боятся и в Европе:
 Где гнев его—там быть беде.

XV.

Быть может девушки иные
 Красивей были, чем она,—
 Но синеокая Мария
 Была для царства рождена.
 И оскорбленная напрасно
 В плену российского царя,
 Она божественно-прекрасной
 Сияла в мире, как заря.
 Кто разгадает сон межзвездный,
 Когда эфирами дыша,
 Над опрокинутою бездной
 Горит надмирная душа?

XVI.

Но Петр, в огне своей державы,
 Марии не постиг судьбы:
 Не видел за лучами славы
 Царицы в образе рабы.
 Ему-ль, владыке полумира,
 У ног Марии отдыхать,
 И в розах тайного кумира
 Любовью нежною дышать!

Нет, соучастницей Мария
 Не будет на его путях.
 Всегда единая Россия
 В его пророческих мечтах.

XVII.

Одна Россия—царь единый —
 Среди побед, убийств, трудов...
 А дома—смех Екатерины
 И хмель полунощных пиров.
 Пирьы царице не постылы.
 Она подруга из подруг,
 И ей не изменяют силы
 Делить с царем ночной досуг.
 Она проста. И ей не надо
 Соблазна неземных пугей,
 И для нея одна отрада—
 Веселье шутовских затей.

XVIII.

И стали вдруг царю докучны
 Любовь и слезы Гамильтон.
 С Екатериной неразлучный
 На север спешно едет он.
 Царь должен быть везде,—и силой
 Учить бояр, казнить врагов,
 И над равниною унылой
 Веселых воздвигать богов.

И с ним жена. Неприхотлива,
 И к мужу страшному добра,
 Она податлива, как ива,
 В руках строптивого Петра.

ХІХ.

Кого ты предпочел, державный?
 С кем ты Россию сочетал?
 Ужели демон своенравный
 Тебя, о, царь, очаровал?
 Ты бег стремил к единой цели
 Трехпалубного корабля,
 Но ты забыл в какой купели
 Крестилась Русская земля....
 Твое мужское сердце слепо
 Тебя в пучину завлекло.
 И как ужасно и нелепо
 Сломалось кормчее весло.

ХХ.

Кому оставил ты державу?
 Кто был подругою твоей?
 Кому ты кинул на забаву
 Добро святых богатырей?
 Ты был прекрасен, вождь могучий,
 Но ты забыл один завет,—
 И собралися злые тучи
 Над маревом твоих побед.

Ты все измерил и заметил,
 Но не узнал Единой Той,
 Чье имя повторяют дети
 В своей премудрости святой.

XXI.

Марию бросил царь суровый.
 Мария Гамильтон — одна.
 И ей мучительны оковы,
 И непонятна ей страна,
 Где все загадочно и странно,
 Где дремлет царственный народ,
 И где в палатке златотканной
 С царем трактирщица живет.
 Мария будто в клетке птица
 Все бьется раненым крылом,
 Морская ширь ей почью снится
 И брошенный далекий дом.

XXII.

И вот однажды ранним утром,
 Когда в Неве, как бы во сне,
 Светятся легким перламутром,
 Влеклась волна к иной волне;
 Когда весенним белым светом
 Пронизан был морской туман.
 И солнце раннее приветом
 Встречало птиц из южных стран;

Мария Гамильтон выходит
 Из плена тесного дворца,
 И смотрит в даль, и молча бродит
 У ненавистного крыльда.

XXIII.

Вдруг юный голос. Неизвестный
 Марии нежно говорит:
 «О, леди! Зори так чудесны
 Здесь, по утрам, когда покрыт
 Наш город пеленою белой...
 Как будто нас зовет Нева
 Сесть в яхту и рукою смелой
 Кормило взять. О, как жива
 Морская ширь! Как воздух влажен...
 И лепет моря—как свирель.
 Я—кормчий, леди. Я отважен.
 Нам яхта будет колыбель»...

XXIV.

Ах, это утро! Эти зори!
 Полотна белых парусов,
 Когда крылатое на море
 Судно летит вдоль берегов.
 Вот накренилась яхта, вольно
 Лобзая грудь морской волны.
 И сердцу радостно и больно,
 И в сердце голубые сны.

Дышать свободой, пить веселье
 Небес, простора и зыбей,
 Хмелея в светлом новоселье,
 Во влаге неземных полей...

XXV.

Кто этот юноша со взором,
 Влюбленным в неземную даль?
 Как будто странным договором
 Их вяжет светлая печаль.
 Он не чужой Марии. Прежде
 Как будто к ней он приходил...
 Мария предалась надежде
 В невольной нежности—без сна,
 Изнемогая и мечтая,
 Вдыхает ветер, как вино,
 А паруса, как чаек стая,
 Влекут волшебное судно.

XXVI.

И после этой светлой встречи
 Они встречались не раз...
 А император был далече.
 Но светлый день для них угас.
 Когда порою дни и ночи
 Мешались в белом полусне,
 Мария опускала очи,
 Сгорая в медленном огне.

И вот однажды кто-то кинул
 Два сердца в пламенную ночь.
 И жребий кто-то властно вынул:
 Нет, страсти им не превозмочь.

XXVII.

Влюбленность, где ты? Смерть ужели
 Сменит томление сердец?
 И песню ту, что души пели,
 Им страсть поет под звон колец.
 Ах, этот звон—как стон неводи,
 Как темный и печальный сон.
 И сколько в этом звоне боли,
 Как в песнопеньях похорон.
 И целомудренная нега
 Застыла в ледяном бреду.
 И хлопья северного снега
 Венчали страшную беду.

XXVIII.

Весна и лето миновали,
 А с ними тайная любовь.
 И все пророчило печали
 И неоправданную кровь.
 Нева замерзла. Петр Великий
 Вернулся в снежный Петроград—
 Неутомимый, многоликий,
 Судья, правитель и солдат.

Он выслушал шпионов строго,
 Тех наградил, иных казнил,—
 И, всеу поминая Бога,
 Расправу тяжкую творил.

XXIX.

Но вот еще один кровавый,
 Двусмысленный и злой донос.
 Он полон дьявольской отравы.
 Его лукавый раб принес.
 И царь задумался, читая
 Навет на леди Гамильтон.
 Здесь в каждом слове месть слепая,
 И в каждом слове—бред и сон.
 «Детоубийство. . Правосудье
 Раскроет правду... Царь! Назначь
 Для пыток тонкое орудье»...
 В застенок леди! Гей! Палач!

XXX.

На дыбе кончились мученья,
 Молчала леди Гамильтон.
 И даже в тайном изумленье
 Палач привычный был смущен.
 Зато всегда на все готовый,
 Покинув ночью царский одр,
 Как будто на свиданье снова
 Спешит во мраке странный Петр.

И вот в угрюмую темницу
 Приходит темный великан
 И оскорбленную царицу
 Находит бледную от ран.

XXXI.

Все та же гордая улыбка,
 Все тот же непонятный взгляд,
 И при свече волною зыбкой
 На ней туманится наряд.
 Лицо у ней прозрачным стало,
 И кажется, что два крыла,
 Как гробовое покрывало,
 Ей пытка страшная дала.
 И вот пред нею император
 С гримасой судорог в лице,
 Как вестник памяти проклятой
 О заколдованном кольце.

XXXII.

«Известно мне, что ты убила
 Твоей любви преступной плод.
 Да покарает Божья сила
 Тебя... Безмолствуешь?»—и вот
 Мария вскрикнула. Живою
 Предстала тень: не человек,
 Не царь с дрожащей головою,
 А тот, кого из века в век

Бойтся сердце, кто над миром
 Звездой сияет по утрам,
 Кто облечен живым эфиром,
 Соперник солнечным лучам.

XXXIII.

Великий Петр! И ты, Марил!
 Не разгадали вы судьбы..
 И ты, великая Россия,—
 Ты жертва тайной ворожбы.
 Младенца вы убили вместе—
 Жених без Божьего венца,
 И ты, подобная невесте
 Без обручального кольца.
 И плачут ангелы пред Богом,
 Когда, влача свой темный груз,
 Бредет Россия по дорогам
 Без милых уз, без брачных уз.

XXXIV.

Над Петроградом дышит холод
 Зимы торжественной. Нева
 Под саваном. Как будто молот
 Кует мороз. И не жива
 Земля, застывшая в сугробах.
 Полоска желтая зарп
 Как будто позумент у гроба.
 И тускло светят фонари.

Чуть мреют дали. В небе мрежи.
 Уныл гортанный крик ворон.
 И траурный помост оснежен—
 Сон белый снежных похорон.

XXXV.

Гвардейцы, чернь, попы и слуги—
 Не люди, кажется, а сны:
 Все в белом и туманном круге
 Погружены, погребены.
 Один—спокоен и не бледен—
 Стоит палач—он груб и прост.
 И ждет таинственную леди
 Царем построенный помост.
 Идет, как вестница метели,
 Мария белая как снег,
 Дитя заморской колыбели
 И жертва тайная за всех.

XXXVI.

При дробном треске барабана
 Толпа раздвинулась. Вперед
 Меж ключев белого тумана
 На место казни царь идет.
 Он всходит на помост позорный
 И видит леди. Их глаза
 Вдруг встретились. И Петр упорный
 Невольно вздрогнул. Что сказал

Последний взгляд Марии милой—
 Осталось тайной... Звездный луч
 Так иногда волшебной силой
 Пронзает сумрак грозных туч.

XXXVII.

Но вот опять метель запела,
 И в снежном вихре исполин
 Творит задуманное дело,
 Как строгий и уставный чин.
 Ему ли слушать песнь свирели
 И голос неземной любви,
 Когда для самовластной цели
 Он строит царство на крови.
 А на помосте Север дикий
 Студил пролившуюся кровь...
 Теперь ты знаешь, Петр Великий,
 Что значит тайная любовь.

XXXVIII.

Там где-то на просторе снежном
 Метельный вой, могильный плач...
 И голову Марии нежной
 Торжественно несет палач.
 И вот царю как будто снится,
 Что леди Гамильтон жива,
 Что над землей взошла Деннида
 И дышит леди голова.

И дарь приник тогда устами
К ее хладеющим устам...
Такими страстными дарами
Дарил любовницу Адам,
Когда впервые древо рая
Ему открыло тайный свет,
Когда, от рая убегая,
Он Божий позабыл завет.

* * *

Три розы серебристо-белых
И золотое сердце... Так
Судьбой начертаны пределы
Любви твоей. И вещий знак
В веках волнует мир подлунный...
Твой герб, Мария Гамильтон,
Певцы поют. И голос струнный
Тревожит замогильный сон.

Георгий Чулков.

ПРОЗА.

Ивану Новикову.

Д У Ш А.

Сентябрьский, свеженький денек.

А н д р е й Б е л ы й.

Девочка попросилась в церковь. Мы нередко ходим в церковь с ней, по летнику, за полторы версты. Но нынче, я уж чувствую, хочется ей поглядеть свадьбу, после обедни. Брат, приехавший ко мне из города, чтоб отдохнуть, собрался с нами.

И хотя немного крапнуло с бледно-лиловеющего неба, и звонили уж довольно отдаленно, мы идем, садом среди золотеющих антоновок, меж кленов златоогненных, чрез рощу, ясным полем с изумрудом зеленой. Девочка впереди. Видит она лошадь, и меня дразнит ею:

— Папа, это Чижик наш на зеленях!

Разговор мой с братом ей неинтересен. В беленькой головке, с светлыми косицами, в быстрых ножках— юная душа, тайное соединение отца и матери ея.

Может быть, их страсти, горечи и недостатки в ней смешались, переплавились, родили серебро гармонии поющей. И ей близок жаворонок, синева далей сентябрьских; смех ея чист; вся она круглая, хоть и остренькое личико у ней.

Когда мы прошли кладбище, и слегка спустились к риге, чтобы обогнуть ее, то показались люди уже из церкви: несколько девиц, да на лошадях двое прокатили.

— Может быть, и не идти нам уже в церковь? Ведь обедня кончилась, говорит брат.

Но мы пошли, девочка настояла.

Церковь почти пуста. Небольшая группа окружает батюшку чернобородого, он служит панихиду. Свечи бледно горят. Все здесь перебивают. Приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы. Сколько все мы настоялись, и наплакались, служа об убиенных, и об убиенном, также о скончавшемся.

Свет пречистый, поддержи нас.

* *
*

У могилы, вблизи церкви, с белым крестом березовым, сидим на древней плите соседняго упокоения. Когда, назад два года хоронил я здесь отца, сторож кладбищенский сказал: «место хорошее, все князья лежат». Несколько плит тяжелых и замшелых, с высеченными надписями славянской вязью. Не прочтешь теперь, а все лежат. Береза листик золотой роняет; несколько кустов акаций, камни, кое где бурьян, да вид на речку и шоссе, серпом взбирающееся на взгорье. Двое поднимаются по нем в тележке.

Курим. Синее наш дымок от папирос.

Девочка рвет цветы: „Дедушке на могилку“. С ней еще дети, наши-же, деревенские.

— Ну, говорю я ей: домой?

Она подходит, и смеется.

— Не хочу. Венчанья дожидаться буду.

Целует меня в щеку и слегка трясет за бороду.

Черноволосый батюшка, в черном подряснике, монашеской скуфейке, слегка осклабясь приглашает нас напиться чаю, в домике напротив.

* * *

Дом поповский, жизнь поповская, сам поп. Как крепко! Мы за столом, заедаем чай со сливками медком, свежайшим маслом на лепешках. Кот проходит. За перегородкой дети занушукали, возня; образа слабо золотеют в уголке.

— Да—а, яблочками попользовался мой сосед, попользовался... говорит чернобородый иерей скарими, моргающими глазами, дуя в блюдечко.

— Да—а... а что-бы поделиться, то этого как не бывало, хотя ведь я, имейте в виду, сам теперь вместо него священник, и церковным садом мог-бы пользоваться. Да—а—а...

Все у него есть, да все обидно, что у других больше. С горечью он вспоминает про других попов, у кого чего много, и у всех как-будто избыльнее, чем у него. Много и у огородников. Много у мельников, наживающихся в счет советов. В Климовском приходжане пятьдесят пудов муки священнику собрали.

— Кушайте, покорнейше прошу... Медку еще. Да, да—а, и времена.

Быстро моргает и говорит, что хоть то хорошо — мужиков оберут.

— Это им, чтобы знали, да—а... чтобы понимали жизнь теперешнюю.

Даль в окне синее. Грачи стаяй носятся над ригой.

* * *

Так девочка и не вернулась. Она осталась с приближенными друзьями дожидаться свадьбы—милые цветы украсили могилу, а мы шагали летничком, домой среди нежно-серебристых далей сентября.

Так тихо, так все благозвучно, светло, мирно. Точно озеро безмолвия и чистоты.

Все-бы понять! Принять, одобрить и благословить. Как будто нет той жизни—страшной, грубой и безжалостной, где мы живем. Как будто нет и наших прегрешений, о которых молимся—замолим-ли?

Страна лежит, страна молчит. Солнце за перистыми облачками серебреет. Лежит сердце, молчит сердце. Молча истаивает.

* * *

Подходя к роще, царом полынным, ошмурыгивая горькую полынь, мы говорим о счастье, о цельности, гармонии и раздвоенности, праведности и греховности, о тех делах, мыслях, стремлениях, с коними—тысячелетия—входит в жизнь человек и выходит из нея.

Синеющим, прозрачно-перламутровым, оком опаловым смотрит на нас даль, слушает душой эфирной.

Нежно алеет, и золотеет в лесах. Хочется, чтоб журавли пролетели.

Роща, сад, дом.

* * *

Мало осталось этих домов, террас, покойных видов с них, покойных семей, мирно пьющих чай на воздухе. Много сожжено, попалено,—как в видимости, так в душе. Но мы живем. И мы за что-то заплатили: за свои неправды, за прошедшее. Меч Немезиды многое сразил. Но, всетаки, живем. И даже чай пьем на террасе маленького дома, и обедаем, в дни теплые. И пообедав, как сейчас, играем с братом в шахматы, за стареньким столом, крест на крест ножки, с крупными квадратами для шахмат, белыми, гнедыми.

Мы молчим часами. Серебристый день покоен. И—ни свет, ни тучи. Как тепло! Как хочется быть кротким, добрым. Позабыть. Простить. Узнать Ее, чьей ризою эфирнотканной все одето, заморожено, струится. Все струится с иным смыслом, выше нашего.

Двигутся фигуры на доске, ведут призрачную борьбу. С клепа падает лист, кружась. В красном, стеклянном шаре перед террасой мир отражен.

Ризы безмолвны, светлосеребряны.

О, если-бы свет разлить,
О, если-бы Лик любить,
О, если-бы Миг продлить.

Но его не продлишь, не убавишь. Ушел, новые листья с кленов падают, новые думы в сердце при-

ходят, иные дела, малыя, бедныя, совершаются. Девочка с девочками из церкви вернулась, отдельно обедает. Бабушка на нас ворчит—зачем все позволяем.

— А мы даже и свадьбы-то не дождались, даже и не приезжала свадьба-то, три раза правда! доносится из столовой.

Бабушка наша *сурьзная*, и основательная. И сейчас все зовут ее *барыней*. Не обижают.

— И напрасно дождалась.

— Бабушка, ну как ждать-то интересно бы-ло. Ждали мы—я, Надя, Катька ротастая, Катя клавиши.

— Ешь, ешь, нечего разглагольствовать.

* * *

Если я зайду во флигель, где живу, то увижу стол свой, книги, снимки, тот угол, который удивляет моих граждан, что случайно забредают в эти комнаты. Одних смущает Микельанджелова «Ночь», повешенная над диваном. Для других загадка—Данте бронзовый, глядящий строго на писания мои. Иногда и сам я удивляюсь. Мне, во первых, странно, почему в бурю эту уцелел мой угол; и второе занимаясь, например, читая Ариосто, иногда я не могу не улыбнуться, и я думаю:

— Мог-ли вообразать поэт, что в стране руссов, отдаленнейшей Московии, через четыре сотни лет, в годы вихрей и трагедий, друг неведомый прочтет его творенья?

И тогда бывает гордость и какая-то особенная радость за слово наше, человеческое, несущее мне душу дальнюю, живую.

Я войду и в другую комнату, увижу там кровать, икону Божией Матери в ризе серебряной на столе, убранную нимфами. И с ней рядом, из трех фотографий взглянет на меня лицо молодое и бодрое, взгляд острый, почти задорный. И нож быстро ополоснет сердце, и не отразить ножа, не отразить! А вот и девушка, ему близкая—тоже ушедшая. Вот его друг, лицо полудетское—мученики времени, жертвоприношения сердец наших и удары Рока.

Вспоминая кровь, *должен* сдержаться. Это трудно, — Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас...

Много здесь выжито, много здесь перемучено. Но это—жизнь!

На столе Богородица в ризе серебряной. О ты, прибежище всех матерей истерзанных! «Благодатная Мария, Господь с тобой».

* * *

— Папа, на сходку, скорей, зовут!

Девочка приотворяет дверь, для убедительности вновь кричит:

— Три раза правда!

Убегает.

— Стой, куда!

— Некогда мне, за коровами!

И ее капор белый, синенькое платьице, косицы две мелькают уж далеко.

Что-же, идем на сходку. Граждане зовут.

Прохожу тропиночкой, к деревне, садом. Этот сад отец сажал. Он теперь—деревенский. Но и нам оставила деревня долю нашу. А в этот год, голодный год, чтобы у нас и у деревни сада не отняли—я хлопотал. Успешно. Недавно баба ухватила меня за руку, пожала, а потом вдруг наклонилась, к моему конфузу, руку мне поцеловала.

— За хлеб—соль. Теперича голодовать не будем.

Трудно об этом вспомнить без улыбки. И проходя сейчас садом, в первый раз сильно принесшим яблок, я чувствую: сад насаждал не я. Так и не удивительно, что он не мой. Это вовсе не удивительно.

* * *

Барин я, или не барин? Странник, нищий, или господин, которому целуют руку?

Но какой-бы ни был, я хотел-бы плыть, тихо, с сердцем некровным, в светлой дымке сентябрьской. Не хочу ни дома, ни садов.

Я путник.

*

Сходка—перед комиссаровой избой. Вокруг столика зыбучего, под рябинкой, на завалинке, крылечке, на трехногих стульях и скамье, под вечеряющим сен-

тябрьским небом заседают граждане. Раньше я их знал мало. Теперь—побольше. Помню, я их стеснялся, ибо был вдали от интересов их, стремлений, вкусов. А сейчас, по моему, они меня стесняются. Мы совсем в добрых отношениях. Но—меж нами пропасть. В разные стороны мы глядим, разно живем, разно чувствуем. Я для них слишком *чуждой*, они для меня слишком *жизнь*.

«Жизнь, как она есть»...

Невесело.

Записывают, сколько кто посеял, что собрал. Сколько отдать, куда везти. Все мрачны. Впереди голодная зима.

Среди унылых буден вдруг из за ракиты выглянут глазенки детские, знакомые косицы; светлым, теплым проблеснет оттуда. И за ужином рассказывает девочка:

— Мой папа на сходке бы-ыл, уж он там с мужиками разговарива-ал, а я подслушивала. А потом мы: я, Катька ротастая, Катя Клавиш, Серенька, Оля, в ночное ездили. Уж хорошо ехать было, я рысью ехала, и даже меня Серенька догнать не мог.

Привет безцельному! Глазам, ребятам, играм, ветерку, облаку, благоуханью.

«Жизнь—как она есть»—дойой.

И в то время, когда девочка с друзьями скачет на овсянице, или к дубкам на ржанище, отец выходит в поле, как и много лет он выходил в поля родные, на заре. Как здесь безмолвно! Как знакомы дали, очертания лесочков, нив и колоколен. Вечером, в поле

кажется, что людей нет, а есть Бог, вечность, природа, медленно, беззвучно протекающие.

„Ничего не было, ничего и не будет“

И л и

„Все было уже, и все будет“.

* * *

Несколько позже: стоим у опушки рощи дубовой. Луна в ясном небе. Зелень в слабом серебре росы. Точно мерцает, мреет что-то над ними, как серебряные ризы Богоматери.

Одень покровом своим бедный мир, дохни сиянием своим в души страждущия!

Вечером, когда детские уста станут произносить слова молитвы: «Достойно есть яко воистину, блажити тя Богородицу...» Ты сойди, душа мира, свет мира, Богоматерь в ризах серебряных, осени души страждущие.

Мы стоим. Смотрим, слушаем, два призрака, два чудака в пустынях жизни.

Бор. Зайцев.

Сентябрь 1920 г.

ПИППО.

(Из итальянских воспоминаний).

Одноглазый Пиппо и его маленькая дочка... Великий певец кабачков... Ну кто же в Риме не знал его! И даже за пределами Рима, куда он уезжал на гастроли по вызову истинных ценителей уличного пенья.

Дочурка его, Мариетта, выросла на моих глазах. Помню, когда ей было лет девять—десять и она уже играла нелегкие пьесы. Личико круглое, всегда такое серьезное, освещенное милой, такой праведной, такой сознательной, ясной, разом и взрослой и детской улыбкой. Пиппо пел, она аккомпанировала; а если она играла,—тогда уже Пиппо подыгрывал ей на гитаре, как может подыгрывать только тот, кто на гитаре живет, как мы живем на земле. Ибо и Пиппо и дочка его были музыкальны до зависти, по итальянски музыкальны, милостью Господа Бога, морского прибора, янтарного вина и голубой небесной симфонии.

Откуда он взялся, этот Пиппо? Ну, а откуда взялся, скажем, Пасквино, или Марфорно, или мадама Лукреция? Вырыли их из земли, безносыми, однорукими мраморами и поставили там, где нашли; и они немедленно прославились и стали своими, римскими, народными. И одноглазый Пиппо явился, я думаю, точно

так же, из римской почвы, или из какого-нибудь барельефа, вделанного в стену старой престарой траттории. Пожалуй, он был раньше сатиром где-нибудь в загородной вилле, пару столетий гримасничал на пьедестале, а затем, тяжело охая, спустился, взял гитару, и пошел петь по именитым кабачкам. Было в нем также нечто родственное тому подвальному моху, которым обросла бутылка искристого Trebbiano bianco sceltissimo, подаренная нам садами Фраскати. Говорят также, что Пиппо был когда-то оперным артистом. Возможно и то. Несомненно, что его дочка, Мариетта, обучалась игре на маподлине у опытного учителя, кажется у немца. И в Берлине Пиппо бывал. Имя же Пиппо уменьшено из Филиппо. Но почитатели звали его не по имени, а по великой его профессии: маэстро.

Густой минестроне (что-нибудь вроде *pasta e ceci*) с'еден, следуют Карчоффи *alla giudea* (сильно румяные, внутри чеснок), за ними иеченка *alla veneziana* (с луком, сочная, духовитая). А в салат милый сор Анджело, падроне кабачка, положил два кусочка льду для свежести. Розина же, его старшая дочь (она все еще ждет жениха! А пора бы!), все это приправила улыбкой. И в толстом стакане, на толстой ножке, кусок льду ждет, чтобы его залили расплавленным янтарем Фраскати. В перспективе свежий, сочный, с кисточкой кудрявой зелени, анисовый корень, финоккьо, очаровательный фрукт, не желающий называться овощем. И тут то слегка подшаркивая ногой,

светясь круглым глазом, приветливо мигающим, с гитарой в черном мешке, в соупутствии Марьеттины, является под сень плохого винограда неунывающий маэстро, неисчерпаемый кладезь жизненной энергии, одетой в рифмы и положенной на музыку. *Buon giorno a tutti e buon appetito!* Всем добрый день и приятного аппетита.

— Как дела, маэстро?

— *N'c'è male*, сор Микэле, струны держатся.

— А ты, Мариеттина, как живешь?

Мариеттина делает книксен и также на жизнь не жалуется. Она уже устроилась на стуле, поодаль от столиков, так, чтобы всем ее было слышно и ей всех видно. И уже посылает уверенную взрослую свою улыбку. А сама еда побольше своей мандолины.

С чего начать? С бравурной песни — слишком солнце высоко; грусть разводить — эх и без того в мире много печали. И Пиппо пока начинает с полулитра белого, принесенного Розвиной. Этот полулитр окупит первая же тарелочка медной и никелевой монеты.

А сам уже перебирает струны, ища мотив настроення. Кто сегодня в кабачке? Пара художников, пара извозчиков, старая синьора, немедкая чета с красными шеями, да давний русский знакомый синьор Микэле.

И пока единый опытный глаз маэстро оглядывает обедающих, струны гитары ужэ спелись о чем то со струнами мандолины. Немцы, случайные посетители, удивленно поднимают головы: им эта музыка знакома

но откуда могут знать ее итальянские проходимцы? И так исполнять на пехитрых инструментах! С такою серьезностью!

Разговоры стихают. Марьеттина наклоняет ушко к самому инструменту, точно вслушивается, что такое вздумала поведать девочке ее умная всезнайка-мандолина. Иногда маленькая музыкантша переводит взор на отца, и в эту минуту ее глаза спрашивают: «Папа, ты слышишь. Эге? Что это такое мандолина рассказывает?» Он же, добро улыбаясь, успокаивает ее недоумение: «Ну да, *Marietta mia*, ведь то же самое говорит и моя гитара!» Сор Анджело, не великий знаток музыки, хотя любитель всемого пения, старается быть серьезным; он остановился в дверях кухни, лицом в садик, и гладит себя по круглому животу—знак удовольствия. Розина пригорюнилась, если только можно это слово применить к итальянской девушке. И беспокойно, но и безшумно, мечется в окне, загнутом двойной частой сеткой, редкая птица—галка, чахлая, потрепанная, подобранный в поле великим охотником, синьором Анджело, и присоединенная к достопримечательностям кабачка.

Собственно говоря, галке пора уже спать; солнце сейчас сядет, а когда сядет солнце, — сразу наступит темнота. В Италии нет сумерек, как нет, и сумеречного настроения. Или светло — или черно; или на душе безотчетно радостно—или же скука черная, особенно несносная, когда дует сирокко. Полутени нашей, млеющей нашей грусти, ленивого мечтательного полу-

мрака-полусна нашего Италия не знает и не хочет знать. Быстры смены тьмы и света в ее небе и благодатном воздухе.

И, повернув быстро голову к дочке, маэстро мигает ей единственным глазом. Аккорд, еще аккорд, чип-чип по струнам гитары, резкал трель мандолины,—и маэстро немецкой музыки нарушено. Только на миг смолкли звуки, Марнетта улыбнулась, маэстро вскинул гитару под мышку, одной ногой на стул,—эге!—пришло время для мелодии Неаполя и римских stornelli. Можно бы осудить настоящего маэстро за такой смелый переход, но Пиппо, ценя музыку Германии, не допобливает самих германцев. Потому то он и позволяет себе смазать их важность и напыщенность внезапными аккордами.

Но в этот момент к нему подбегает немецкая дама выразить чувства. И вместо уже народившегося мотива, мы принуждены нехотя ловить ухом тот акцент итальянского разговора, который способен испортить аппетит к макаронам и окислить каприйское вино. Ничего не поделаешь.

— Розина, мой стакан пуст! Позаботьтесь!

* * *

Быстро вечереет. Сор Анджело недавно перешел от газа к электричеству и завел целую доску выключателей, которыми любовно пощелкивает, засвечивая нужные лампочки под виноградным навесом садика. И на праведливые огоньки притекает любитель про-

стой римской кухни и пряностей неаполитанской песни. Шариком катается любезный падроне от столика к столику, проворнее действует руками сора Эвелина, его жена, и алчно жду я последнего угощения—обычного стакана горячаго и ароматного zabaione на мадере. А маэстро, уже окончивший третий полулитр, кивает подошедшим знакомым и готовит голос для красивой и лукавой песни:

Canto a voi, fanciulle, un po sgarbate
Che date i baci a stento...

— «Пою вам, о девушки, немножко не любезные, вам, которые целуете тайком, скупю и считая поцелуи.

«Берегитесь, как бы не спугнуть таким постом первую любовь. Как бы не умерла она от излишнего постничанья!»

«О вы, блондиночки, смуглянки, рыженькие! Женщина отлично знает: ротик, который целует, решительно ничего не теряет. Он обновляется, как это бывает с луною».....

Come fa la luna....

И вот настроение кабачка создано и определилось.

— Маэстро, спойте, «O Mari!»

Старая неумирающая песня—серенада. Позже слышал я ее в России, по русски. Но разве можно перенести к нам Неаполь, его зной вечерний, передать силу страсти его двойных согласных (nammurato)!... Нет, мы слишком белокровны, и нет пружинной стали в чувствах наших. Даже в цыганских песнях на-

ших, близких к Неаполитанским, больше расслабленности, чем приподнятой на дыпочки страсти.

Одноглазый Пиппо покажет вам, как любит (*come ama*) и как ж е л а е т (*come vuole*) итальянский влюбленный. «О Мария! Сколько дней я напрасно теряю из-за тебя. Дай же мне хоть одну ночь об'ятий!» И закатился к виноградному навесу незрячий глаз Пиппо, и дрожит скула его, топорщится щетина щек. Сангвинику, сидящему по близости, неможется от пения Пиппо; он даже сплевывает и говорит:

— *Diamine! Ma comme canta ben sto Ciclope!*
И здоров же петь этот одноглазый!

Пиппо, теперь дай покой раздраженному чувству. Эх, Пиппо милый, и в грусти есть услада!

Будь молод, пока ты молод. Лови жизнь: затем она и дана. Эх, Пиппо, всего не выскажешь, и не всеильна твоя гитара, да же она. А знакома ли тебе, Пиппо, старый маэстро, любовь тихая, преданная, самботверженная, несмелая?

Пиппо, усталый от возбуждения, стирает пот большим платком в широкую клетку и, скомкав платок, долго засовывает его в карман, улыбаясь издали широкой улыбкой.

— Подсаживайтесь ко мне, маэстро!

— Сейчас, сор Микэле, вот еще спою вашу любимую—и пошлю Мариетту с тарелочкой. Песня-песней, а брюхо-брюхом. Девочка растет, а Пиппо стареет. Пора подумать и о приданом. Верно ли говорю, Мариетта?

Мариеттина улыбается и звонким голосом окликает:

Эту ли, синьор Микэле?

И треплет стальную струну роговой пластинкой.

— Ну конечно эту, девочка! Спасибо за память!

„Когда вы родились, Любовь вписала

Одну лишь строчку в книгу бытия...

Земля в своем движении замерла,

Цвет звезд переменялся... Потому что,

Когда родились вы—Любовь вписала:

„Тот, кто тебя полюбит,—тот умрет!“

Краса уходит... Юность не вернется...

Потраченное время без любви—

Уж не придет назад... Нет, никогда!“

— Никогда! *Maì più.*

Розина! Вы слышали. Торопите же своего жениха. Зачем вы отпустили его в Америку? Может быть он вернется оттуда с целым сундуком денег, но, Розина, не забудьте о красоте девичьей, которая уходит, о юности, которая не возвращается—*maì più.* Или вы думаете, что еще не уходит ваше время? В том то и дело, что незваным и негаданным подкрадывается этот момент. И задолго до первой морщинки около глаз—покрывается сетью морщинок утомленное ожиданием сердце. „Берегитесь, как бы не спугнуть первую любовь долгим постом.“

Розина понимает без слов и сменяет посудину с воронкообразным горлом.

— Мало, Розина, мало. Принесите нам еще. И хороший кусок сладкого *torta inglese* для Мариеттины

А вы сами не сядете, захопотались? Ну, пусть тогда сор Анджело придет отдохнуть за наш столик.

Толстеный падроне уже катится в нашу сторону.
— *Essolo qui..... cimitero de polli.....*

Свою округленность он именует весело „куриным кладбищем“. Почему „куриным“, падроне? Кроме жирных кур,—немало, думается, и баранов, и телят похоронено здесь.... А сколько пасты и антипасты... Помиримся на двух вагонах макарон. Ну, за общее наше здоровье. И да здравствует прежде всего любовь:

*L'amor'è facile,
Tutto è difficile.....*

Любовь—дело легкое, а все остальное так трудно.....

* * *

По русски „кабачек“ звучит далеко не поэтически. Чуется в этом слове тяжелый пивной, сивушный и махорочный дух, грязь лохмотьев и висящая в воздухе брань. Грязные и жалкие таверны можно найти повсюду. Но не в этих притонах нищеты и алкоголизма звучала гитара Пиппо. Сюда не мог повести своей дочери знаменитый римский певец.

Римский кабачек — нечто совсем особенное, нам незнакомое. Добрый хозяин любовно содержит его в чистоте, не жалея скатертей, пусть заплатаанных, но все же чистых, и украшая его, чем Бог послал, — антиком ли, выкопанным из земли, или собственным семейным портретом, а то аквариумом фонтанчиком,— благо великие воды бегут в Рим по старым акведукам с окружающих гор.

В кабачке днем обедает средний чиновник, вечером он же приходит сюда с семьей или с приятелями. Обязателен столик, накрытый куском сукна, для игры в *tresette*, или в *scora*, по одному сольдо партия. Остричь и говорить о политике полагается громко, на все помещение, но ни один добрый падроне не позволит посетителю грубого слова или пьяных выкриков, — да и посетитель сам понимает это прекрасно.

Чем стариннее кабачек, тем в большем он почете; чем строже наблюдает хозяин, чтобы только избранные виноградники доставляли дары свои в подвал кабачка, — тем больше ценителей заглядывает в уют кабачка после захода солнца. Но всегда доступными остаются цены, и синеглазник-рабочий не переплачивает из-за того, что кабачек полюбился и господину в манжетах.

В осенний сезон, когда Рим заполнен иностранцами, кабачки прихорашиваются и, конечно, теряют часть колорита. Настоящие *habitués* забиваются в угол и скучают, закрывшись листом „*Messaggero*“ или „*Giornale d'Italia*“. Они ждут, когда волна иностранцев сбудет, и снова станут они первыми людьми земного рая. Разве немец или англичанин, забредшие сюда ради курьеза, понимают разницу между искристым Фраскати и степенным Гроттаферрата. И можно ли серьезно относиться к людям, которые ломанным языком спрашивают в будний день Асти Спуманте, обращая волшебный кабачек в шаблонный ресторан.

И подлинный ценитель поэзии кабачка морщится и тухнет, когда, по желанию подвыпивших иностранцев, тот же сор Пиппо, великий музичиста, должен петь наскучившую и затасканную „Santa Lucia“ или „Spagnola“.

Настоящий римский кабачек полон своеобразной поэзии, которой не опишешь двумя строками и не расскажешь в целом томе. Он не может быть шаблонным, в нем обязательно есть нечто свое, неповторимое,—либо виноградный навес, либо исключительное вино, либо такой суп из рубцов, какой найдется в редком субботнем меню. Или горячие пышки, всегда с пылу с жару; или макароны домашней стряпни, секрет которых был занесен в завещание хозяина.

Нет, например, сомнения, что лучшие в Риме, а следовательно и в мире, макароны, точнее *pasta all' uovo*, подаются у братьев Феделинаро в их кабачке, что на площади, заполненной шумом фантана Треви. Лучше не бывает. Лучше и не может быть. Лучше попросту—нельзя себе представить.

Это истина, оспаривать которую смешно, — хотя иному, может быть, более по вкусу какие-нибудь *rigattoni al sugo*, толстые, полосатые, мучнистые, — но это уже дело вкуса, я же говорю об объективной истине, не допускающей дальних кривотолкований.

Помнится, именно в этом кабачке я и познакомился впервые с маэстро Пиппо и его дочкой. Один опытный итальянский друг открыл мне секрет запыленного и выдержанного *Trebbiano bianco*, не слыш-

ком строгого, сладковатого, но очень уж подходящего к необходимым, также лишенным строгости и стиля, но все же единственным в своем роде макаронам братьев Фединаро. Вечером я завел сюда гостей из России, литературных друзей, почитателей Италии. А Пиппо в те дни (ох, как давно это было!) еще цвел здоровьем и блистал голосом.

Право же, как то даже странно говорить сейчас о кабачке рядом с фонтаном Треви. Кажется это далеким, позабытым, быть может перепутанным спом... Поклоннику Парижа тоже есть что вспомнить, но не с тем, нет, не с тем чувством. Там к воспоминаниям непременно примешается что-нибудь пикантное, щеко-чушее воображение: слово, жест, улыбка, выходка, хотя бы попросту лицо, ряд лиц, оживленная мимика и беседа. А в Риме как-то и люди не нужны. Зачем мне люди, когда Агриппа, зять великого Августа, еще в 19 году до Христа позаботился устроить водопровод, пославший в Рим шумливый поток чистой и вкусной воды, питающий фонтан Треви на крохотной площади. Фонтан Треви не струйка, не каскад; целую речку, бойкую, немолчную, одел Бернини дорогим камнем, набросив фигур и барельефов, напутав аллегорий, увековечив и самого Агриппу с планом его диковинного акведука. А шум фонтана врывается в кабачек каждый раз, как новый посетитель приоткрывает дверь, заранее улыбаясь предстоящим высоким вкусовым ощущениям: гениальным макаронам и аккомпанирующему их живительному напитку.

Сам кабачек не прихотлив; только один ряд столиков умещается вдоль стены, забегая и под арку примыкающей комнатухи. Напротив столов—хозяйский прилавок, он же и кухня, так как горячей пищи, за исключением макарон, да еще пожалуй яичницы, здесь не подается.

Вы помните, милые друзья, с которыми мы позже не раз встречались на страницах газетных и в литературных сборниках (жизнь умеет разбрасывать, но она же охотница и вновь сталкивать!), как спорила здесь мандолина Марнетты с говорком фантана? И песни одноглазого Пиппо помните? И как, страшно взволнованные и вином и звуками, вышли мы и спустились к барьеру фантана бросить традиционное сольдо в воду — ведь вы уезжали! — и смеясь, и в тайниках души все же веря, что примета не обманет, что Рим опять позовет к себе того, кто не забыл исполнить священный обычай. С тем же странным волнением неверующий крестится на старинный, темный, прекрасный образ, с улыбкой прося его о помощи, смеясь над собой и любя этот крест, этот жест забытый, отвергнутый—и все же святой своей наивностью...

Кто пробудил в нас это чувство веры в чудесное? Кто облек надежду на возврат в поэтическую грезу? Не Пиппо ли, пропев знаменитое „Вернись в Сорренто“, не его ли слегка натреснутый голос, цельной страстью дрожащий? И не струны ли мандолины, живые под ручкой маленькой Марии?

И вы вернулись.... И еще не раз мы встретились в Риме, — пока не залил Европы поток ненависти, сначала нас разлучивший, позже вновь спаявший иною спайкой... Что бы дали вы, чтобы вернуть те дни и снова быть возле рябой воды фантана склоненными перед статуей поильца Рима — Нептуна с трезубцем!

* * *

Шли годы.... Заглядывая иногда на кладбище у черепичной горы Тестаччо, где под сенью пирамиды Кая Цестия врастает в землю подмогильная плита Шелли, где у дверей склепа сидит мраморная девушка, изваянная Антокольским, где плакучее дерево склонилось над именем Пашкова и где спит много много маленьких, никому неведомых людей,—я бродил глазами меж черных кипарисов, отыскивая незанятый клочек земли, который можно откупить заранее. Мне казалось — и посейчас кажется—покойным и гордым лежать здесь, далеко от родины кровной, в центре родины великой культуры. Здесь заезжий сородич прочтет на мраморной плите имя, — прочтет вслух и, может быть, вспомнит или запомнит; после, вместе с именем кладбища, пирамиды и странной, голой горы из античных черепков, — мелькнет в его памяти и надпись по русски, навеки оставшаяся в Вечном Городе, поскольку, конечно, сама вечность—не условна. Быть связанным с Римом—хотя бы узами смерти — мне всегда казалось честью. Низко склоняю голову и

прошу мою судьбу оказать мне эту честь хотя бы за те мучительные годы, которые выпали и выпадут на долю наших поколений!

Шли годы... На месте пустырей Prati di Castello вырастали доходные дома; целый чиновничий городок зачался и вырос за villa Borghese, ученая лопата удлинит площадь Форума вплоть до величавой громады Колизея; восстал из земли великий Август, возсияла из подземного заточения статуя Ниобиды; уже третий папа на моей памяти сидел «добровольным пленником» в Ватикане.

Шли годы... Увереннее, тверже, спокойнее звучали стальные струны мандолины в руках Мариетты, уже почти взрослой девушки; глубже стала трещина во все еще полновесном голосе маэстро. Нежная песня Неаполя—да; но уже не так легко давалась ему сумбурная, дурашливая, неистово-веселая «Tirammi la gamba».

— «Ай, ай. Тяни мою ногу, она под трамваем. Прощай, моя Нинетта, прощай, моя Нинетта, тебя увижу ль вповь?»

Пиппо прыгает на одной ноге, поджимая другую, вскрикивая под акомпанимент своей гитары — к вящему наслаждению публики. Никто не поет так «Tirammi la gamba», как великий Пиппо. Но тяжел, слишком тяжел был ему такого рода репертуар. Когда маэстро вытирает клетчатым платком обильный пот со лба,—сердце его колотится сильно, больно и старчески.... И будет лучше, если маэстро отдохнет на

волнующем, полном лирики мотиве диалектальной песенки *El sordato*.

Солдат—неаполитанец поет на чужбине свой родной мотив; молодой командир слушает. Не время петь, и не место... но не велик выбор для сына Неаполя: либо петь, либо умереть.

„Я сказал ему: синьор поручик!
 Пойте и вы—что за беда!
 Я думаю о моей далекой родине,
 Ведь я неаполитанец;
 Если я не буду петь—я умру.
 Поручик вздохнул...—Да, ты прав
 Неаполь прекрасен, ох, как прекрасен Неаполь.
 Звасшь, ведь и я влюблен в наш Неаполь.
 Ну, ну, пой же свою песенку,
 Только пой тихонько—тихонько.“

Мой спутник, артист московской оперы, сам знаток и любитель неаполитанской песни, берет у Пипло его гитару.

— Ну, маэстро, теперь споем наше, русское.

И поет ему первый куплет „Коробейников“.

— *Vene—benone!* Отдайте-ка мою гитару! Ну, Мария! Верно ли, синьор *Volodia?*

Маэстро учить не приходится. Ему достаточно дать услышать мотив, — он его никогда не забудет. И за ним, внимательным ухом, следует его музыкальная дочурка. И в центре Рима, близ Капитолия, несется из закрытой двери кабачка разбойничья песня—

На старой Калужской дороге
 На сорок девятой верете...

В стаканах наших искрится знаменитое вино est-est-est, в старые годы трижды отмеченное знатоком-кардиналом. Оно строже и хмельней Фраскати. Но кабачек, прославленный этим вином, неуютен. Пиппо не заходил бы сюда, если бы в красных книжках, программу которых выполняют англичане и немцы, звездочка не указывала на этот кабачек, варьируя и легенду о вине est-est-est. И бедному маэстро, по случаю тяжелых дней, приходится наводить своей гитарой colore locale на шаблонный кабачек улицы, слишком центральной и буржуазной. Ибо Мариеттина уже перестала быть даже Мариеттой: ее называют синьорина Мария. Глаза ее остались детскими, волосы, как и прежде, гладко зачесаны кверху, не по-римски, а пожалуй, по-русски, совсем просто, без претензий. Плавность родилась в ее спокойной походке, солидность в улыбке. В шестнадцать лет — итальянка уже женщина. Неужели это та самая Мариеттина, которая радостно приседала, получив шелковый шарфик в кабачке Треви? Шелковый шарфик, яркий и широкий, из рук русской синьоры... Как идут годы....

— Маэстро. Сколько лет мы знакомы?

— Думаю, синьор Микэле, что не мало! Пожалуй с того самого года, как толстый Анджело купил тратторию „Roma Sparita“. А тому будет.... тому будет.... Мария! Сколько тому будет лет?

— Ты говорил—лет восемь, папа.

— Да, уж не меньше. Пожалуй, как раз братишка Марии тогда родился....

— Да разве у вас еще есть дети, маэстро?

Эге! Я их держу дома. У меня их четверо, синьор Микэле. Мария—старшая, остальные сыновья.

— Такие же музыкальные?

— Дети мои? Нет! Им не далось. Но я их и не учил. И вряд ли хороша такая участь, быть певцами кабачков. Не так ли, синьор Микэле?

— Но вы, маэстро, король певцев!

— Король, а живу, как нищий. Отойти в сторонку, Мария. Знаете, синьор Микэле, эта девочка — сокровище. Что — я? Я — пьяница! Без нее я пустил бы семью по миру. Не она при мне,—а я при ней. Но, синьор Микэле, мандолина не кормит; нужно горло, мое горло, хоть старое. И еще чувство нужно; старого артиста чувство. Теперь подумайте, синьор Микеле: когда я умру—куда она пойдет? С кем? И что будет с ними?

Вот от чего у старого Пиппо порою дрожит голос больше чем нужно, *Alla buona salute*, синьор Микэле! Пусть это будет последний стакан. Что прикажете спеть на прощанье? Или сыграть вам Молитву Девы?

Опять, склонив головку, внимательным ухом следит Мариетта за дрожащим звуком струны. Влажен одинокий глаз Пиппо, и на опухшем лице его странная улыбка. Он также слушает гитару. И публика, за полчаса перед тем смеявшаяся его песням и ужимкам, застыла в немом и почтительном внимании. Ему не аплодируют. Щедро кладут экономные итальянцы

янды, еще щедрее иностранные гости медь и никель на истертую тарелочку Мариетты.

— Buona notte, signori, e buon riposo a tutti! Всем доброй ночи—и сладко почивать!

* * *

Время от времени из кладовой появлялась коллекция чемоданов и подвергалась осмотру. Соблазнительно было взять только один, маленький плоский чемоданчик, подкинув к нему походную сумку и несессер... Но книги! Но бумага! Но лишняя перемена белья! Едешь на день—бери хлеба на веделю! И малый чемодан лез обратно в кладовую, а большой еще больше распухал, пыхтя под тугими ремнями. И такой же кругленький, надутый, пыхтящий паровоз увезил меня из Рима, редко—надолго, часто—далеко, никогда—на родину. Кроме нея, все другие страны были, в ту пору, гостеприимно открыты и приветливы.

И вот однажды, вернувшись из какой-то дальней прогулки, не то из Парижа, не то с Балкан, — где иные песни звучали,—я, как всегда, с первым приветом направился в „Исчезнувший Рим“ („Roma Sparita“) сэра Анджело.

Сколько новостей! Розина, наконец, замужем. Когда сор Микэле надумает прокатиться за город по дешевому тарифу на хорошем извозчике, — достаточно предупредить накануне или в тот же день, но пораньше утром. Муж Розины имеет хогя и простой, но новенький—с иголочки—экипаж Есть пара лошадей,—

приданое Розины. Каков из себя муж Розины? Хе-хе! Да вот он сидит за угловым столиком. *Vieni qua, Adolfo!* Познакомьтесь, сор Микэле! А Розины здесь нет, она теперь домоседка—дома хозяйничает.

Ну, а в остальном все по-старому, за три месяца без особых перемен. Вот еще новость: немецкая статья в рамке. Это, сор Микэле, вроде как бы реклама. Если вспомните, бывал тут, в „*Roma Sparita*“, молодой художник с длинными волосами, немец. Теперь он уехал совсем в Германию. Так вот это его статья о римском кабачке „*Roma Sparita*“. Теперь в Берлине всякий читал. И в книге Баха также значитя на особой странице. А к книге написал предисловие сам Габриэле д'Аннунцио.

За стаканом горячего *zabaione*, с глубоким и радостным удовлетворением вернувшегося домой путешественника, слушаю солидную болтовню толстого *padrone*, волосы которого быстро седеют, а глаза всегда молоды и простодушны.

— Ну, а Пиппо поет по-прежнему?

— Пиппо? Э, нет! Пиппо больше не поет!

— Почему же?

— Потому что Пиппо умер, сор Микэле. И не говорите, такое горе, такое горе!

— Как, маэстро умер? Как же так?

— Умер, простудился и *addio!* Ну, конечно, и ослабел от вина. Вина он пил слишком много, синьор Микэле; а Пиппо был уже не молод.

— А девочка? Мариетта?

— Она бывает почти каждодневно. Приходит с другим. Тем и семью кормит. Пиппо, старый бродяга, не сумел скопить семье ни гроша. Мариетта едва его схоронила—и пошла опять бродить по кабачкам. Но доходы не те! Так, дают иные, зная об ее сиротстве....

— А с кем же ходит девочка?

— Какой-то родственник, тоже гитарист.

— Он певец?

— Нет. Теперь поет сама Мария. Но разве это голос, сор Микэле! У Пиппо был голос, и было сердце артиста. А Мария... как все. И мандолина не вручает. Без отда ей нет ходу. А Пиппо, бедняга, умер. Двадцать лет без малого я знал его, сор Микэле. И все двадцать лет он пел и пил, как настоящий маэстро своего дела.

На следующий день к вечернему обеду пришла в кабачек Мариеттина. В черном платье. Похудела девушка. Видно—трудно ей. Ее спутник—простой, робкий человек, в пиджачке, серьезный гитарист, но без огня и без увлечения.

— Чья это гитара?

— Папы. Он завещал ее синьору Федерико.

— А твой братишка, Мария?

— Он дома с мамой.

— Мама работает?

— Она стирает белье синьорам. Но платят плохо.

— Значит теперь ты кормишь семью?

— Я помогаю. Но и нам дают не много. Гораздо хуже прежнего.

— Ты очень жалеешь папу?

— Он был такой добрый...—Era così buono, rovegno parò.

*
*

— Одного я не рассказал про маэстро Пиппо. Он был не только удивительный певец, но и умница, и очень чуткий человек. Помню, как в Риме гостили русские экскурсанты-учителя. Свыше трех тысяч приехало их за шесть лет, и Пиппо неизменно пел им по вечерам.

Однажды мы справляли прощальный вечер: утром группа уезжала во Флоренцию. Пели хором, говорили речи, разводили гражданскую грусть интеллигентскими слезками.

Пиппо слушал, аккомпанировал пению, смотрел внимательно в рот ораторам. Вероятно по глазам догадывался, о чем говорят русские, почему в их голосах слышится дрожь. Смелся, когда сор Анджело выступил с речью, „по-русски“ („Спасибо, спасибо, дозвиданья!“). Затем залпом выпив стакан вина, великий маэстро сам попросил слово, махнув мне рукой:

— Переводите!

Сначала цветисто, по адвокатски; затем душевнее и проще. Каждый итальянец—немножко оратор. Пиппо был оратором Божьей милостью,—как и певцем. И я очень жалел, что речь его приходилось переводить,—разве переводима речь итальянского оратора. Но всего чудеснее было то, что Пиппо говорил на ту

же тему, что и мы, — все поняв о чем перед этим шла речь по-русски. Он говорил нам о наших горестях и сулил нам те блага, и бóльшия, какими пользуется Италия,—и свободу, и свет солнца, и веселую песню. И кончил лучшими нашими тостами, выраженными им на звучнейшем из языков. Как он понял? Как догадался? Какой же ты умница, Пиппо, и какой ты чуткий и благородный человек!

Арфой злагострунной ласкают ли ангелы твой слух, достойный маэстро! Или ты веселишь своим пением страдальцев Дантова ада? Или оттуда, своим одиноким глазом, ревниво следишь за тонкими пальцами осиротевшей Марии, дрожащими над двойной струной мандолины?

Пиппо! Огдохнуло ли т а м твое усталое сердце!
Posa per sempre! Assai tu palpitasti!

Мих. Осоргин.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ.

И одели Его в багряницу и, сплétши терновый венец, возложили на Него.

(Ев. Марк, гл. 15).

Ехали уже семь дней. Запылились, загорели, оборвались еще больше, устали, говорили хрипло. Измученные лошаденки едва передвигали ноги. А всем думалось, что едут давно-давно... Дорога была одна во все семь дней: сожженные бурые поля, изредка перелески с желтыми листьями и серой паутиной на сухих ветвях, порой деревушка, порой село с белой церковью, стройно поднимающейся среди темных придавленных куч—изб.

Все семь дней солнце огненными ногами ходило по земле.

Утром оно вставало большое, без блеска, как мутный багровый шар, и в миг наполняло весь мир огневыми стрелами. В неверном мареве выползало оно на небо—синеватое над головой и бледное-серое, густо запыленное над дальними полями. Чем выше поднималось оно, тем становилось злее. На всей равнине не было черного пятна, на чем бы отдохнул глаз. Все мрачно сверкало, даже сожженная земля. Тончайшая пыль, как огненный сверкающий туман,

висла в воздухе. И в огневом сверкании лениво полз обоз. Воз за возом, полз дальше, дальше, словно хотел уползти от солнца.

Перед полднем обоз свертывал с дороги в первый долочек и, бессильный, останавливался. Люди забирались под телеги, в тощую тень; лошади прятали головы под брюхо одна другой и дышали шумно, высоко вздымая мокрые от пота бока. Слепней не было. Слепни все сдохли. От жары. В высохших болотах...

Зной лился густой, непроглядный. Виделось: все вдали движется. Трепетно переливается над полями огненная прозрачная вода,—справа, слева, спереди... Переливается быстрыми мелькающими волнами. Не было облачка на небе. И солнце казалось голым в своем одиночестве.

К вечеру вся равнина тускнела. От кочек, от холмов, от перелесков бежали сизые тени. А все еще дышало огнем. И шина на колесах обжигала, как только что вынутая из горна. Но пробуждалась чья то воля, и над станом носились хриплые крики:

— Эй, запрягай!

Тогда все шевелилось. Вели полумертвых лошадей, руками подталкивали их сзади, крепко тянули за узду, так что голова и шея—от морды до плеч—вытягивались стрелкой, и запрягали. И опять обоз скрипел по пыльной дороге. Длинные тени шли сзади.

В сумерки на смену солнцу выползла луна. Такая же голая в своем одиночестве, с неверной улыбкой на лице,—словно смерть молча смотрела на зем-

лю. Земля молчала. Когда останавливался обоз и переставали скрипеть телеги, жуткая тишина вставала от земли до неба. Ни птиц, ни кузнечиков, ни людских криков...

Так день за днем, ночь за ночь семь мучительных кругов—от восхода до заката и от заката до восхода.

На стоянке дед Лука долго молился на восток и вслух читал:

«Слава Отца, во имя Отца. Слава Отца, во имя Отца. Слава Отца, во имя Отца...» Много, может быть, сто раз. Иной молитвы он не знал. Он не просил, не жаловался, не каялся, а все: «Слава Отца, во имя Отца»...

Кончит,—посветлеет, будто утолит жажду из светлого источника. Прежде, там, дома, в Вязовке, он любил поговорить в такие минуты о душе, о святых, о народе. И с Кузьмичем у него такая дружба больше потому, что Кузьмич человек бывалый и «слышит в полслова.»

Теперь же грустно оглянет пустую степь, подумает и скажет:

— Существовать невозможно. Такое скряжение христианского народу идет, такое скряжение, что... Не иначе, как за большие грехи.

И задумается. Узловатый, уродливый, как старый корень, вывороченный из земли. Все лицо в морщинах—тонким кнутиком исхлестано вдоль и поперек. А весь с правилами и законами; земляными, стойкими,

Кузьмич ярко помнит тот вечер, когда впервые обоз встретил в поле брошенного мертвеца. Все багровое было кругом. И небо, и пыльная, иссохшая земля. Лошади при каждом шаге мотали головами, словно хотели помочь себе. И в этом движении чувствовалось, как они устали. Вдруг — одна за другой заартачились и в сторону: прямо у дороги лежал мертвый в ситцевой рубашке, в грязных посконных портах. Босые ступни с искривленными пальцами торчали в стороны. Лицо было закрыто тряпкой. Вокруг головы на земле лежали бумажки, придавленные камешком: деньги. Лука перекрестился, подошел к мертвому и, нагнувшись, начал его перекладывать...

— Ты зачем его тревожил? — спросила Лизка, когда Лука догнал обоз.

— Неправильно лежал: ногами на восток надо, — сурово ответил Лука.

— А деньги то зачем клал?

— На похороны. Аль не знаешь? Миром — народом хоронят, миром — помин делают. Ну, только этому незадача.

— Почему? — спросил Кузьмич.

— Свои бросили, — чужие не похоронят. Даже положить по-людски не захотели. Все напуганы, все бегут. Видишь?

Он показал вперед. А там, как бурые черви, тянулись по пыльной дороге обозы.

— Всем только до себя. Бегут. Гибнут, как челноки в море.

* * *

На восьмой день перед полднем доехали до степной вихлявой речки с скрутыми глинистыми берегами, кос-где поросшими тальником и осокой, свернули в сторону от дороги и раскинулись станом. Первый раз за всю дорогу обрадовались. Все обрадовались. В звоне ведер, что загремели по стану, послышался смех. Голоногие мальчишки в холщевых рубашках забегали по берегу, перекликаясь, как галки. Девки стадом побежали в сторону, подальше от стана, купаться; раздевались смеясь,—странные чудовища—с белыми стройными телами и черными от загара лицами, шеями и руками. Фыркали радостно лошади.

Лука засуетился, распрягал торопливо лошадей словно боялся, что река уйдет.

— Теперь мы до завтра здесь пробудем. Отдохнем. А доволен был, — будто сам изобрел эту реку.

— Ты бы искупался, Кузьмич. Поди, тебя пыль теперь поедом ест, непривышный ты.

— Иду, иду, дед. Сейчас помогу тебе и пойду.

— Чего помогать? Иди. Я один сделаю. Иди, тебе говорят. А то солнце столбунцом встанет, тогда поздно будет.

— Поздно? Почему?

Лука понизил голос.

— А бес то полденный? Он не любит, когда в полдень купаются; схватят.

Кузьмич засмеялся — мелькнули белые зубы на черном лице — и пошел. Так захотелось сбросить поско-

рее просоленную потом, скорблую рубашку и кинуться в воду.

А под обрывами уже везде плескались и кричали люди. Испуганные стрижи носились над рекой, пронзительно покрикивая. Речка была светлая и гладкая, лишь рябила на перекатах у намывных песчаных островков, золотистыми пятнами разбросанных то там, то здесь под берегами.

Кузьмич обрадовался и зеленой осоке, и сероватым листьям тальника, и, больше всего, светлой глади реки, в которой отражался противоположный берег—глинистый, с тонким карнизом чернозема, в котором всюду виднелись дыры — гнезда земляных стрижей. Серебристая вода ластилась к берегу.

Вот долочек,—легко спуститься,—по долочку тальник, а за ним, видать, песчанная отмель клином зашла в воду.

Кузьмич пробрался на нее и, не садясь, снял сапоги. Ноги радостно заныли в горячем сверху, сыроватом песке. Он быстро разделся, глянул на себя и рассмеялся: тело белое, а ноги и руки черные—будто чужие приделаны. Стрижи, словно мухи, летали над головой.. Кузьмич побежал к воде. В уголке у отмели заливчик—вода в нем застоялась, стала зеленоватой, и едва Кузьмич бултыхнул ее, вступив, как с поверхности серой дымкой поднялась мошкара, и засвистала в воздухе. Кузьмич зашагал в воду. Вот по колени, вот по бедра, — между пальцами ног вода шевелится, как живая, щекочет, а прохлада лезет вверх мягким

пояском... Бултых!.. Он окунулся. А когда опять вышел на отмель — сердце глухо колотилось.

— Хорошо!

Он растянулся на горячем песке. И первый раз за дорогу в хорошей дреме уронил голову на руки — и уже не Кузьмич был — властный и умный, — а кто то вялый, безвольный; сосуд, наполненный ленью и сладкой истомой. Тощие длинные мухи бойко бегали по песку, пугались, бежали в сторону. Одна села на ногу, защекотала возле пятки...

Близкий берег за речкой теперь казался высоким, как стена с черным карнизом, и отражался во всей реке. Успокоившиеся стрижи летали без крика, низко над водой.

А на всем лежала дрема, и осока застыла над рекой, и тальник, и берега. В дреме Кузьмич повернулся на спину. Солнце сразу согрело грудь. И не кожу только, а будто все тело насквозь, и самое сердце.

И впервые за много дней Кузьмич подумал о солнце радостно.

В дреме вспомнил всю дорогу, — когда оно золотыми раскаленными зубами грызло землю, а раньше — истоптало все поля в Вязовке. Самую Вязовку вспомнил. Церковь на пригорке, вереницы изб, и проводы, и слезы... Сердито повернулся на бок: опять показалось, что солнце — зверь.

Но песок приятно грел щеку.

— А все таки хорошо...

В стоячей воде у берега поднимались пузырьки и лопались. Два стрижа летали над Кузьмичем; долетит и столбом вверх—рраз! и щебетнет, будто крикнет:

— Эй, проснись!

А Кузьмич спал, спал долго, кажется, с самой зимы так не спал...

Большой слепень вылетал из тальника, загудел сердито, как дьякон, сел Кузьмичу на спину. Тот взрогнул. Слепень поднялся, закружился, опять сел—темное пятно на белом теле. Кузьмич сердито отмахнул рукой,—хотел поднять голову, но голова была полна мутной тяжести, а глаза слипались. Ему почудилось, что он задавлен. Он маленький, маленький. А кто огромный идет прямо на него в огненных сапогах.. Это солнце. Идет злое. Лицо на небесах, ноги здесь на земле. Задавит... Вот, вот... И в самом деле страшная нога опустилась на Кузьмича. Он сам услышал, как застонал. Но повернуться не мог...

— Проснуться бы, подумал он, и, собрав всю волю, поднял тяжелую голову.

Все кругом было сизое. Стрижи показались злыми: сядет на бок, укусит. Шею было трудно повернуть,—будто спина срослась с затылком.

— Что со мной?— испугался он.

Голова опять упала на песок.. И когда через минуту он все таки поднялся, некое видение стояло перед ним—Белая Дева. Пришла ли она по реке, безшумно, как струи, или прямо из воды поднялась, Кузьмич не знал. Она была высокая, в прозрачных белых одеж-

дах, закрывавших ее ноги. И—странно,—сквозь одежды, и сквозь ее тела виднелся противоположный берег, и небо, и стрижи. Она с улыбкой смотрела на Кузьмича. Ее правая рука туманилась, словно держала что то неясное.

Кузьмич испуганно смотрел на нее.

— Кто ты? Пресвятая Дева Богородица или ведьма?—трепетно спросил он.

Она кивнула головой и улыбнулась радостней:

— Я—Белая Дева. Я пришла за тобой.

— Ты мираж?—забормотал Кузьмич, опуская голову.—Я... я болен.

Он с трудом повернулся на бок. Вся нога горела и саднила, как содранная. Голова была налита свинцом.

Он опять лег и закрыл глаза. А поднявшись, снова увидел ее—Белую Деву. Она стояла над ним, не двигаясь... Он весь задрожал судорожно, пронизанный ознобом.

А кто то на берегу кричал:

— Кузь-ми-ич! Кузь-ми-ич!

Кузьмич огляделся. Белой Девы уже не было, будто Она испугалась криков и скрылась. Все просто было. Река, берег, стрижи...

Не искупавшись, только стряхнув с себя песок, он с трудом оделся и пошел в стан.

* * *

Опять заскрипели возы. Под кручу, через речку, в брод, на другой берег, где между свинцовых полей прохлыстнулась темная извилистая дорога, уходящая

за дальние холмы, вон туда, где стоит ветряк, беспомощно опустивший руки, как убогий старик. Солнце идет на закат, немного правее дороги.

— Но! Но!.. Спускайся! Поддерживай!---

Лошади похрапывают и стонут. Стонут, как человек, придавленный горем. Возы лезут с кручи в воду, напирают, хомуты у лошадей сдвигаются на уши. Заплескалась вода. Бабы и девки идут по воде стороной, высоко подбирая подола. Сколько бы здесь можно наговорить по этому случаю веселых вещей... Но все молчат угрюмо, привычно, будто на губах замок.

— Но! Но! Выводи, матушка!..

Один за другим, один за другим—едут, едут возы, словно на ниточке. Кто то навизал их и тянет. Вот голова у другого берега, вот выехали на кручу. Вымытые колеса блестят. Пыль липнет комьями к шинам. И не останавливаясь, едут по дороге вдаль...

Кузьмич стоял у самого спуска, ждал, когда по очереди подойдет лукин воз. Тянется, тянется ниточка. Вот и Лука.

— Поддерживай-ка сзади, Кузьмич,—кричит он.

Кузьмич берется за задок рыдвана; Лизка в сторонке снимает башмаки, смотрит на него смеючись. От ее взгляда и от улыбки хорошо Кузьмичу. Он берется сильными руками за задок, — ноги уходят по щиколотку в пыль. Лука одной рукой ведет лошадей, другой крестится...

— Тихонько, тихонько, матушки, — говорит он лошадям.

И лошади с'езжают тихонько. Заплескалась вода. Кузьмич вошел в реку и сразу дрогнул. По всему телу пробежали мурашки. Перегоняя воза, он пошел скорее, чтобы выбраться на берег. Что то постороннее вошло в него и жгло. Лизка возле-бредет по воде...

И вдруг ниточка оборвалась. Там, впереди, воз перед кручей остановился.

— Но! Но, дьявол! ревет кто то.

Раздается яростный хлест. Лошаденка поднимается на задние ноги, мечется то вправо, то влево, но воз ни с места. А крики нарастают.

— Погоняй! Погоняй, не останавливайся!..

Кричат те, кто стоит в воде, и те, кто еще остался на берегу.

— Какой дьявол там завяз?

— Кузька Плетнев... кажний раз он задерживает людей.

— Ну, ну, погоняй! — Да бей ты ее под брюхо!

Растут злые крики и хлест, и бурлит вода под ногами мечущейся лошади. Плетнев зверем скачет возле. Возжи со свистом взлетают над лошадью. Кто то в шапке подбежал слева, с палкой. Удары сыпятся градом.—Бьют под брюхо, по глазам... Кузьмич бежит к возу...

— Стой, стой! Боем не поможешь. Надо сзади подпирать. Беритесь-ка!..

Возле уже много мужиков. Подпирают воз плечами. Лошадь прыгает. На тощем крестце видна каждая

жилка. Воз сдвинут. Но шаг два, и лошадь со стоном падает.

— Бе-ей!..

Теперь бьют все: возжами, палками, кнутами, кто то тащит за гриву...

— Распрягай!..

Вздываются яростные крики. Плетнев уже там не хозяин. Другие, злые, рвут хомут, бросают в сторону. Лошадь лежит на боку. Ее поднимают ударами, ведут на берег. Из разбитого глаза у ней течет кровь.

— Толкай воз в сторону, какого дьявола?

— Зачем в сторону? Бери на выкат. Мужики, подходи!

— В сторону! Некогда с ним возиться.

— Батюшки, не оставьте, — взвизгивает женский голос.

— На выкат бери.

— Ну, ну, разом. Бери-и!..

Выкатывают воз на кручу, и сводят с дороги в сторону. Ниточка опять потянулись. Воз за возом, воз за возом. Просхал Лука, проехали Шинины... Плетнев суетится возле избитой лошади. Опять надевает хомут, бьет лошадь. Вдруг та ложится. А возы мимо, мимо...

— Батюшки, не оставьте!

Баба кидает ревущего ребенка на воз, бросается к лошади и вопит. У Кузмича кружится голова. Он чувствует, что упадет сейчас. Он идет за возами.

— Батюшки, не оставь те!

Крик, как иголка, вонзается в уши... Мужики и бабы идут молча, не глядят на Плетневых.

— А вы тово... догоните,—говорит чей то равнодушный голос.

Пыль поднимается легким облачком. Под ногами хрустит высохшая трава.

Когда проехали с полверсты, Кузьмич оглянулся.

Все кругом голо. Вон чуть видны обоженные кустики, торчащие из за обрыва. Дорога уже, уже,— и там вдали—пестрое пятно—брошенный воз Плетневых... Видно, как возле него все еще мечутся мужик и баба...

— Бросили Плетнева то,—глухо сказал Кузьмич.

— Что же делать? Как нибудь оправится, догонит,—откликнулся Лука,—всякому теперь только до себя. Зачерствел народ. Час пропадет и то боязно.

Эти слова, такие простые и понятные в своей житейской жестокости, вдруг возмутили Кузьмича. Он сердито посмотрел на старика и спросил:

— А если б нас бросили?

— Что ж, и мы бы отстали. На все Божья воля.

У Кузьмича вдруг закружилась голова. Во рту стало сухо, и что то горячее забилося в горле и под ключицей. Показалось, что он сейчас упадет среди высохшей степи, и его бросят, как бросили Плетневых.

Бросят и будут говорить: «Божья воля»...

Будто спасаясь от чего то, он подошел к самому возу и положил руку на наклейку. На возу Лизка, возле бежит Полкан... Неужели выдадут?

Весь бок у него и вся кожа на спине горели и саднили. В ушах стоял звон.

— Я болен. Сейчас упаду,—подумал он,—Бросят меня.,.

Солнце уже зацепило за край земли, и все впереди загорелось кровавым светом. На лице Лизки мелькнула синева—будто мертвое стало лицо. Кузьмич отвернулся, но синева и в лице Луки... Он стал глядеть вдаль, чуть повыше земли. И в позолоченном небе вдруг показалась Белая Дева. Она тихонько двигалась стороной, словно не хотела перегонять обоз, и с улыбкой смотрела на Кузьмича. Ее руки были беспомощно опущены. Правая туманилась. Складки белого платья едва намечались.

— Опять?—испуганно подумал о ней Кузьмич. — Опять? Не бред ли это?

* * *

Ночью у него в самом деле был бред. Обоз стоял на пригорке, возле деревни. Откуда то тянуло прохладой. Кузьмич лежал под возом, укрытый чапанами и ватолой. Его знобило. Зубы отбивали дробь. В глазах мелькали искры и металась зеленые полосы. Знойные вихри носились по спине: схватит нестерпимый холод, пронесется от пяток к затылку. «Укрыться бы!» Но миг — и жар. Горит все тело. Горит гор-тань. «Пить! Пить! Пить!»

Он просит, молит, настойчиво молит, а голоса нет, лишь шевелятся пересохшие губы. Но кто то

угадывает его мысль: под чапан лезут руки, шарят, прикладывают железную кружку к горячим губам.

— Мама.

Хорошо. Да, это мама. Вот она приложит сейчас руки ко лбу, пожалеет.

Но что ж она медлит?... Скорее же приложи. Давай почувствовать твое родное тепло. Нет, нет, нет, нет... И вспомнил: окно открыто в сад, зеленые липы стоят стеной, поет зяблик. И в комнате поют уныло. Пахнет ладаном. На столе синий гроб, укутанный белой тюлью,—чуть пробивается синева сквозь тюль.. Там мама. «Вечный покой подаждь, Господи.» У окна гимназист в серой курточке, подпоясанный ремнем, большелобый... Гриша.

Чьи то руки трогают лоб. Руки шершавые и горячие.

— Пить! Пить!...

— Захворал что ли ты?

— Захворал, мама.

— Эва, я не мама. Аль не узнаешь?

— Узнал, мама. Дай воды.

— Ну, замолол. Вот вода. Голову то подними.

Вода льется за ворот, бежит по груди, по бокам, дрожью отзывается по всему телу.

— Еще?

— Не надо, мама.

— Да ты что? Вправду чтоль не узнаешь?

— Надо узнать, надо, — ясно подумал Кузьмич и сдвинул горячими руками чапан.

Пахнет пылью, холодеющей землей и дегтем... Кто то жаркий сидит рядом, — не разберешь в темноте. Лошадь жует.

— Лиза?

— Знамо я, а то кто же?

Ах, вот кто, Лиза. И вспомнил все: Вязовку, Лизу, Луку, пылающее лицо зверя на небе, молебны в поле... «Три года будете камни глотать.»

— Лиза, ты помнишь?..

— Чево?

Как ты и все плакали, когда уезжали из Вязовки.

— Заплачешь. А ты спи-ка.

Как душно. Уйти бы отсюда, чтобы не пахло дегтем и пылью. Холодно. Нет, не надо шевелиться. Вот Она, Белая Дева. Голова в небе, руки опущены, вдали с горизонтом сливается платье.

— Лиза.

— Чево тебе?

— Я пошел с мужиками потому, что люблю тебя. Ты меня не бросишь в поле, как Плетневых?

— Молчи, молчи, тятя услышит.

Белая Дева смотрит холодно. Кружится все кругом.

— Эй, вставайте! Ехать!

Куда ехать, когда здесь тепло? Не надо. Но чьи то руки тянут.

— Вставай, Кузьмич.

— Не надо. Полежать бы...

— Тятя, Кузьмич то захворал.

— Кто говорит? Что за ложь? Разве я захворал?

И подвинулся, судорожно цепляясь за воз.

Хотел подняться на ноги, но кто то ударил по голове. Что такое? Ах, это телега. Надо вылезть. И полез. У, как холодно.

— Захворал? Аль правда?

— Нет не захворал, так что то. Наступило на меня солнышко огненной ногой...

— Э, ты все причужаешь. Запрягай-ка лошадей то. Счас поедем.

Холодно. Зубы бьют дробь.

Лука стоит в стороне и широко крестится на белую ленту, что висит на востоке. Кузьмич подумал о нем,

— Чудак, сейчас оттуда взойдет зверь. Кому молится?..

— Запрягай! Живей!

Лизка ведет лошадей, ловко возится около них.

— Кузьмич, давай дугу.

— Дуга? Что такое? Ах, да. Вот ова.

Оглянулся—Белой Девы нет. Небо большое, а земля маленькая. Словно островок в море света. На островке темные фигуры-люди... Шевелятся.

— Говорил тебе, не купайся круг полден, бес затреплет.

— Это лихоманка его, тятя, а не бес.

— Трогай!..

— Ты бы лег, Кузьмич, на воз, ежели нездоровится...

— Я лягу. Мне что то в самом деле нездоровится...

* * *

Днем, когда обоз стоял, к больному Кузьмичу пришла баба с мальчиком на руках.

Мальчик с белеенькими волосиками. Худенький. В серой запыленной рубашечке. Кузьмич не мог вспомнить, чей он. Так туманилась голова. А Лука стыдливо погладил мальчику волосики заскорузлой рукой:

— Внучек, внучек, внучек.

Ах, это Потапов сынишка, должно быть. Вот и сам Потап, лохматый, «Мохор». Да, да, тот самый мальчик, его Васькой зовут. Он просил как то вечером, на стану, в те первые дни, когда только что выехали из Вязовки:

— Мама, дай молочка.

А мать:

— Подожди, не подоили бычка.

Тогда нехотя все засмеялись. Васька помолчал, подумал и сказал:

— Дон скорее.

— Сейчас, сынок, сейчас....

— Что же теперь с ним?

— Бог ее знает, с пищи штоль? Ну, только прямо кровью исходит. Ослабел, аж на ножках не стоит....

Мать угрюмо посмотрела на Кузьмича.

— Как быть?

— Вот и еще идет смерть,—подумал Кузьмич.

— Какими средствами такую болезнь лечат? Тебе, чать, по книгам то известно,—забубнил Потап.

— Отвар черничный надо давать.

— Отвар?—Та-ак...

Мать сердито поджала губы. Мальчик заплакал—тихонько, жалобно, и в этом тихом, детском плаче было так много скорби.

Кузьмич молчал. Лука и Потап ждали, что он еще скажет. В стороне свирепо ругались. Лука вздохнул и промолвил:

— Божья воля.

И отвернулся. Потап постучал кнутовищем по своему сапогу.

— Значит, нельзя помочь?... Ну, Татьяна, пойдем.

И пошли оба к своему возу—она немного впереди, глыбастая, согнувшаяся, несла мальчика, покачивая. Потап за ней. Мальчик плакал.

Кузьмич поглядел вправо, вдаль. Там по полям шла Белая Дева. Ее голова была в небе, беспомощно опущенные руки прятались в складках одежд....

И опять озноб, и бред, и жажда, и раздражающий скрип телег, и пыль.

— Эй, вставай!...

— Неужели утро?—испугался Кузьмич,—Когда же была ночь?

Кто то бормотал над самым ухом:

— Кузьмич, встань-ка, браток, помочь Потапу надо. Помоги, пока мы с Лизкой запрагаем, помоги....

В неверном свете стоял перед Кузьмичем на коленях Лука, тербил его за руку и звал настойчиво:

— Встань же, помоги.

— Кому помочь?

— Потапу. Надо схоронить Васеньку то. Поскорей. Счас поедем, а он еще не управился. Возьми лопату, вырой яму, пока они его обряжают.

— Умер разве?

— Умер. Только вот изошел. Всю то ноченьку промаялся, лебедик.

Лука вдруг оперся рукой о землю и поднялся. И отвернулся, качая головой.

Кузьмич вылез из под воза. Да, уже утро.

— Вста-ва-ай!...

Лизка подаст лопату.

— Иди, вон они...

И указала в сторону, вдоль дороги...

По одной стороне рыдвана стояли две лошади— понуро опустив голову, а по другую—на земле—на разостланной ватоме, лежал мальчик с беленькими волосиками, в серой запыленной рубашечке, худенький. Глаза уже были закрыты, и длинные ресницы бросали тень на щеки. Губы посинели. Баба стояла на коленях возле, выла и кланялась в землю раз за разом, касаясь лбом как раз возле, где лежали его маленькие босые ножки. Потап топтался тут же, не зная, что делать... А крик все звал:

— Вста-ва-ай!... Запрягай!...

— Что ж убиваться то? Против Божьей воли не пойдешь,— сказал чей то голос сзади.

Кузьмич оглянулся. Это Лука—суровый, кудлатый, старый гриб,

— Похоронить надо. Иди, Кузьмич, рой могилку вон у бугорка то. А ты, Татьяна, обряжай его ско рее.. Счас ехать надо....

Кузьмич пошел в сторону к бугорку. Какая пыльная, какая сухая земля. Лопата еле идет. А ведь здесь пахали. Под нижним слоем, охладевшим за ночь, земля была горяча, и из ямы потянуло теплом.

— Живея поворачивайся-а!—командовал кто то.

Кому? Неизвестно. Но Кузьмич торопился. Нельзя отстать! От обоза отделились двое—идут сюда: Потап с Татьяной, а в руках большой сверток, завернутый в чистую холстину. Татьяна все причитает.

— Сыночек ты мой, родненький.

Положила возле, развернула с одной стороны — там мертвая голова с закрытыми глазами и белыми волосиками. Она опять стала на колени, заплакала, причитала. Кузьмич торопился. Яма была теперь по пояс.

— Живея-а!...—кричали из обоза.

Кому? Неизвестно. Уже везде виднелись вздыбленные дуги. Запрягли. Сейчас поедут.

Довольно, Кузьмич.

— Похоронят тебя на чужой сторонushке и будешь ты лежать, как сиротинка бедная, как серый камешек, у дороги брошенный,—причитала баба.

Потап наклонился и закрыл холстиной головку мальчика. Татьяна рванулась было, словно хотела отнять, и просто упала на землю. Потап перекрестился и поднял сына. Вдвоем с Кузьмичем они уложили

мальчика в яму. Среди глинистой земли холстина казалась еще чище. Оба мужчины молчали.

Кузьмич поспешно схватил лопату и стал сбрасывать землю на холстину. Баба, как собака, у которой хозяин несет топить щенков, подползла к краю ямы, за сапогами мужа. Она вопила. А в обозе кричали:

— Живея поварачивайся! Трогай!...

Там заскрипели телеги. Тронулись. Кузьмич торопился. Вот уже не видно холстины. А земля сыпется, сыпется.

От могилы пошли так: Потап с лопатой на плече впереди, а Кузьмич за руку вел Татьяну.

Она качалась, порывисто бросалась вперед, гнулась почти до земли, выпрямлялась и хрипло вопила:

— Ох, Господи, Господи!... Да что ж это такое, Господи?

А обоз уже уходил, и степь была пуста. Солнце в мареве ползло вверх.

Когда догнали обоз, Кузьмич оглянулся. Где же холмик, под которым схоронен мальчик? Степь ровная, и не разберешь в ней ничего.

— Хоть бы камешек положить,—подумал он:— хоть бы камешек.

И опять дрожь, истома и туман....

* * *

Кто то шарит тихонько около самого уха и говорит:
— Ты проснулся, Кузьмич?

Голос ласковый, но раздражает. И хочется на него ответить сердито.

— А разве я спал?

— Как убитый. Что с тобой? Ты болен?

— А Васенька?

— Какой Васенька?

— Внучек то?

— Ты бредишь? Васенька в могиле. Сам же ты и хоронил его. Еще третьяго дня.

Лука смотрит сумрачно, Лизка испуганно. Воз скрипит, и так неприятно лежать на нем. Во рту пыль и липкая сухость.

— Волга скоро, а ты все валяешься. Встал бы, хоть посидел, а то болезнь совсем сломит. Встань-ка, встань....

Лука берет за руку, поднимает, заставляет сесть...

* * *

Озерца, перелески из дубов и осокорей, тальники с бледно-зелеными листочками. Откуда они?...

— Скоро Волга,—говорит Лука,—Вон смотри, вон горы виднеются, а под ними Волга.

И правда, к вечеру Волга. Широкая, версты в две. Песчаные отмели, как желтые полотна, лежали вдоль берега. Между ними поблескивала вода, красноватая от заходящего солнца. За Волгой, вдали, верст за пять, сбоку белой горы, в вечерних облаках тонкой пыли, виднелись церкви—одна, две, три... много. И торчали трубы, похожие на шести. Там город. Лука стал креститься.

— Ну теперь, надо полагать, облегченье будет.

Кузьмич промолчал. Облегченье? Какое? Все равно. Вид воды его угнетал.

Впереди сердито говорили чьи то голоса:

— Не пушают. Череду надо ждать неделю, аль больше.

— Да как же это? Нам нельзя. Мы и так проелись. Ежели ждать неделю, нам смерть.

— А вот как хошь, так и делай. Не пушают. Нам тоже череду ждать—помирать. Вон гляди, сколько народу. Слышь, как шумят?

Кузьмич прислушался. Издали, с берега, шел неясный, густой шум. Там, как золотые точки, светились костры. Пахло дымом и скошенной травой. Под уродливыми осокорями, у дороги, стояли рыдваны, а вокруг них разбросанная рухлядь и бабы с ребятишками. Справа и слева слышались крики. В голос плакала женщина.

Проехали еще немного. Теперь все перелески и ближние луга были полны людьми, телегами, лошадьми, криками, собаками, кострами, дымом.

Возы пошли тише. Лизка держала возжи, натянув их, загибала голову то вправо, то влево... Кто то невидимый спрашивал:

— Далеко еще до перевоза то?

— Далеко. С версту.

Выехали на яр. Справа, вдоль золотистой Волги желтели пески, на которых бродячими пятнами чернелись люди, лошади, возы с поднятыми торчмя оглоблями; а слева, вплоть до далекой перевозной конторки,

четко выделяющейся на светлой воде,—все было запружено черной копошащейся массой. Дым частых костров стоял над всем берегом. Злые лица глядели на Кузьмича со всех сторон. Это был стан диких.

— Куда прете? Без вас там много....

Но возы шли туда, в темную массу. Кузьмич смотрел, не понимая. Неужели это все люди? Неужели придется ждать здесь целую неделю?

Он подумал, что теперь жить нужно будет все время у воды, что лихорадка, пожалуй, будет трепать его чаще... Только подумал, а дрожь сразу пробежала по спине, и в глазах засверкали голубые кольца...

Сразу костры стали ярче. Они виднелись то из за колес, то из за копошащихся людей. Кузьмич, как в бреду, смотрел кругом. Черные фигуры бродили около возов. У костров сидели чудовища с ярко-красными лицами. Весь воздух был полон тоски и зла. Дышать стало труднее, труднее, и вдруг все—весь берег с людьми, кострами, лошадьми—закачался. Дым и пламя костров разлились по всему берегу, поднялись до неба, как чудовищный пожар. Глухой шум толпы зазвучал, словно суровая монашеская молитва. Кузьмич беспомощно оглянулся. Рядом—Лизка—с красным лицом и хищными сверкающими зубами. Он сделал к ней шаг и потерял сознание.

* * *

Пожары подымают, звонит звон, и бой идет. Ничего в дыму не разобрать.

Кто то положил холодную руку на лоб. Смерть? «Смерти только раз взглянешь в глаза»... Она склонялась низко, глядит в глаза—старуха с проваливающимся ртом. Она шепчет:

— Заря - заряница, красна девица, избавь раба Божия Григория от матухи, оз знобухи, от летучки, от желтучки, от Марии Иродовны, от всех двенадцати девиц-грязовиц... Тьфу, тьфу, тьфу, тьфу!

Смерть поплевала во все стороны и опять ее холодная сморщенная рука коснулась лба, подбородка, щек. Из за плеча смерти смотрит Лизка. В глазах у ней тревога.

— Никак прочнулся?

— Прочнулся,—говорит смерть.—Дай, Господи, на выздоровление.

Ах, это не смерть, это—старуха.

— Вылазь-ка вылазь, будет валяться. Пропадешь,—говорить Лизка глухими далекими словами. Из за звона в ушах Кузьмич едва слышит ее.

Над Волгой туман, белый, как молоко. Над ним—горы другого берега. Где то стучит плицами невидимый пароход. Плачут дети.

— Что это с тобой? Совсем ты скопытился.

Лизка нагнулась к самому лицу Кузьмича. Ласково скрипит ведро рядом. Лежать бы и слушать этот скрип и ловит щеками теплое лизкино дыхание.

— Эх, какой красивый ты стал. Все губы в болячках. Вот это тебя Бог наказал—не целуйся с девками. А желтый ты, как личница.

Ведро скрипит. Где оно? Вот. Оно в руке Луки. Бородатый тоже смотрит на Кузьмича пристально.

— Испугал ты нас: два дня в горячке пробыл. Полегче что ли тебе?

— По-лег-че...

— Ну, слава Богу.

Туман колышится, уходит. Завиднелся город—белые дома по берегу, главы церквей. В церквях. протяжно звонят. Волга пустая. Нигде ни лодки, ни баржи, ни парохода.

Стайка босонзгих ребятишек, подсучив штанишки и рукава рубашек, плещется в воде—ловит мальков. Высокая сердитая баба прямо в Волге, как в ванне, моет ребенка. Она держит его левой рукой под брюшко, а правую плещет воду на бедерки и сморщенные ножки. Ребенок надсадно орет. Баба окунула его в воду по самые плечи. Кузьмич поежился от холода, словно купают его, а не ребенка.

— Холодно ведь ему,—сказала Лизга.

— А, дьявол ему сделается. Сдох бы, не пожалею,—проворчала баба.

Кузьмич дрогнул и опять упал в пылающую тьму.

* * *

Кто то спросил:

— Умирает?

— Умирает.

— Вот беда то.

— Да. Жалко парня. Бегал, бегал от смерти, а она вот где настагает его.

— А он чей?

— Московский. От голодухи к нам в деревню бежал. два года с нами прожил, а теперь вот... на дороге помирать собрался.

— Полечить бы.

— Ходит тут баба, заговаривает. Да где уж... Вишь, какой он кволий. Лежит, как колода.

О ком это говорят? Кузьмич поднял голову, мутно глянул вокруг. Стоят бабы, Лука. Смотрят пристально на него... Неужели, о нем?

— Прочнулся? Ты встань, Кузьмич, не давайся смерти.

— Я не дамся,—глухо говорит Кузьмич.

— Ну да, вот молодец, не давайся.

Муть кругом. Пахнет дымом и навозом. Лизка говорит оживленно, и белые зубы мелькают на загорелом лице, как огоньки.

— Идем, а он и ви-си-ит.

— Кто?

— Старик то.

— Старик?

— Да. Лысый. Штаны спали, ноги тощие, тощие, как палки. Лицо синее, жилы надулись на лбу. И мухи ползают. Ка-ак мы победим!

— Это что, а вот мы видели вчера. Едем, а он и лежит. И не старый еще. А ослаб. Попух. Взять бы,— у самих силос нет. А он глядит на нас: «Проезжаете?»

дескать, оставляете?» И глаза страшные, большие. Слезы кап,—кап,—кап. Говорить уже не может... Аж, мне всю ночь мерещился.

— А мы вот тоже... лежат трое и все мужики. И уже того... червь наклюнулся. Хоронить то некому...

— Лука! Лука! Лука!—

— Тятя, тебя Кузьмич зовет.

— Ты что?

— Попроси, чтобы бабы ушли: мочи нет.

— Ну, ну. Я прогоню. Ты не того, не тревожься—пройдет все...

— Ту-у-у... Ту, ту, ту-у...—взвыло над Волгой.

— Перевоз идет!

Кузьмич испуганно поднялся и уцепился за воз. Все перед ним было четко и входило в душу каждой гранью.

Белый буксирный пароход «Муравей» подводит к пристани паром. Он еще далеко, а толпа заметалась. Мужики, бабы, лошади снуют взад и вперед. Возы наезжают один на другой. На мостках, перекинутых с берега на пристань, плотной массой стоит народ. Мостки гнутся до воды. Все орет и вопит в бешеном иступлении. И покрывая рев толпы, уныло, как зверь, воет пароход. А в лесу и по всему берегу поспешно запрягают лошадей, будто надеются, что перевоз возьмет всех сразу, все десятки тысяч их, голодных, оборванных людей. Толпа сзади напирает на тех, кто около пристани. У мостков дерутся. Над толпой мелькают оглобли, дуги, сжатые кулаки, го-

дова лошади, вздымавшейся на задние ноги. По деревянному гужкому полу стучат тысячи ног. Это толпа потоком ворвалась на паром. Судорожно заметались телеги у пристани и одна за другой, под безумный рев, поползли по мосткам. Кто то упал с парома и черным живым пятном поплыл по стальной глади. Видно, как он поднимал руки, барахтался, плыл и, недоплыв, скрылся в воде.

— Спасите!—хрипло крикнул Кузьмич, — спасите!

Никто не взглянул на него.

— Спасите!

Душно, душно, как в казарме душно, или как в застенке, где говорят и думают об убийствах. Как много злобы. Черной тучей она ползет по берегу, цепляется за кусты, за землю, за телеги.

— Бей! Бей! А-ва! Бей!

И опять мрак и опять огонь всплывающий.

* * *

Мимо прошла молодая баба. У груди грязный узел. Из узла крик:

— Уа, у-а-а! У-а...

Лука ласково улыбнулся:

— Ишь, поет.

Все трое посмотрели на бабу. Она села рядом у обрыва. Какое измученное лицо у ней! Ни щек, ни подбородка. Только огромные глаза и заострившийся нос. Она села прямо на землю, согнулась, словно кто то поставил сапог на ее спину и придавил к земле, и стала кормить ребенка грудью.

— Нишкни, мой милый, нишкни!

Ребенок смолк и вдруг, будто разобиделся—заревел сильнее.

— Да что же я тебе, пащенку, дам? На... Молчи!

Теперь баба сердито совала ребенку в рот грудь. Она склонилась еще ниже и, вскрикнув, разом выпрямилась.

— А, чтоб тебя разорвало!

Высоко вздымая руку, она начала остервенело бить по узлу. Ребенок зашелся от крика.

— Эй, девага, за что ты его?—крикнул Лука.

Баба обернулась. Лицо кривое от злобы, зеленое.

— Как же не бить то? За титьку тпшнул. Мочи моей нет с ним...

Она заплакала жалобно, сама, как обиженный ребенок.

— Ни день, ни ночь не спит. есть хочет, а чего я ему дам? Нет у меня молока. Нет. Господи, прибири Ты его от меня! Мучение только одно...

Ребенок надсаживался от крика. Баба развернула его, положила прямо на песок: и ребенок — в рубашенке—зашевелился, поднимая дрожащие тоненькие ручки и ножки, будто жучек, брошенный на спину. Баба сидела, наклонившись над ним, плача. Лука зашмыгал носом, забормотал:

— Эх, горе, горе...

А ребенок плачет и хрипит. И баба плачет. Пряди темных волос выбились из под серого ситцевого платка, и делали ее похожей на ведьму.

Солнце передвинулось к горам. Сейчас заденет их вершины. Волга покраснела. Кузьмич подумал:

— Вот сейчас, сейчас...

И разом дрогнул. Озноб захватил его, трепанул. Глаза засветились. Мысли яростно помчались. И в ознобе он с ненавистью думал о мужиках.

— У-а, у-а, у-а!..

Баба на вытянутых руках качает ребенка, ходит вдоль обрыва.

Кузьмич в дреме закрыл глаза.

— Ай!— крикнул кто резко.

— Бросила! Ребенка в воду бросила!..

Кузьмич вскочил, будто подброшенный, забыв хворь. Баба все у обрыва. Руки пусты. Кузьмич подбежал к самому краю, готовый прыгнуть в воду. Но на воде гладь—ни кругов, ни пузырей.

— Где он? Куда ты его?..

Баба как столб. По берегу бегут. Подошел мужик—высокий, с кнутом. Немного согнулся, глаза полны злобы, и сказал вполголоса:

— Ты эт-то что сделала, сука?.. А?..

И, взмахнув, вдруг ударил кнутом бабу по голове. Ж-жик!.. Та не пошевелинулась.

— Ты это что сделала?

И опять: Ж-жик! У бабы задрожало лицо. Она выпрямилась и закричала истерично:

— Истираил он меня. Житья нет...

Около Кузьмича молодой черный мужик кричал:

— Бейте ее суку! Народила, так и топить? Бейте ее!

Все кругом кричали. Злобно кривились лица, тряслись лохматые головы, открывались грязные западни ртов. Бабы тоскливо взвизгивали.

А та стояла, равнодушно опустив голову.

— Утопить ее!

Она клонилась все ниже, ниже, и как подрезанная, упала на землю и завывала дико источным голосом.

— О-о-о, батюшки! Убейте вы меня Христа ради. Сыночек мой, Олешенька.

У Кузьмича ослабели ноги. По воде, вдоль берега, прямо на толпу шла Белая Дева.

* * *

Ночь. Запах костров. «А-а, топить ребенка? Дикари!» Кузьмич теперь думал о них раздраженно. Измученный лихорадкой, обессиленный он ненавидел их.

«Слава отца, во имя Отца. Слава отца, во имя Отца.»

Это Лука шепчет. У, черт его!..

Пошентал, покрестился. На восток. Обязательно на восток. Его Бог на востоке. И пошел куда то...

— Вот он, это лучший из мужиков, он иной молитвы не знает, как бессмысленная: «Слава Отца»...

Кузьмич сжал кулаки. Прилег плотнее к земле.

— Подожди, а может быть иной молитвы и не надо? Все—слава Отца небесного! Все во имя Его... «И страдания?» Да, и страдания.

— Русский народ — Бог. Он восходит на крест, как сам Бог восходил когда то. «Да минует меня чаша сия?» Нет, ни минует. Вкуси. Вкуси, чтобы воссият во славе вечной, светлой... Ибо только страдания—путь к прекрасной жизни.

— А лошади то с выхлеснутыми глазами, а руготня то, а драка то, а ребенок то, броженный в воду, а черствость то? Ха... Бог. Какой это Бог? Это гнус, отребье. И Русский народ—это толпа бродяг без родины и Бога. Он гибнет, тонет, и пусть! И слава Творцу! Мало этого; нужно бы в поганой луже утопить народушко этот, чтоб не попахивало им.

— Подожди, подожди, подожди, подожди!.. Нет, нет, нет, нет, нет! А слезы то? А мальчик то с беленькими волосиками, схороненный под холмом?... Степь там широка, и никто никогда не найдет этой могилки. А помнишь, мертвый то в степи? Всяк пройдет—положат деньгу—от сердца. И «нищему дай»! Это ли не завет русский? И детская вера во все. Во все! Он во все поверит. Вера—основа его жизни, весь свет его души. А вера — миры спасает. Слава Тебе, Всеверующий! За веру Твою простятся все грехи Твои.

— Не-ет, стой! Как все понять? Как понять Тебя, Великий и Бессмысленный, Святой и Подлый Народ?.. Благословлять или проклинать Тебя на всех путях Твоих?.. О, как мучительно!..

К возу подошли. Двое. Лука и еще кто то. И говорят тихонько, по стариковски. А-а, это тот старичиска, со слезящимися глазами. По нем ползают.

Подальше от него надо. Кузьмич судорожно дрожал, пока старики укладывались возле воза.

— Пропадает земля Русская. Мрет народушко хрестьянский. Бесчастливым стал, как камень, в степу брошенный.

Это Лука. Это у него такие слезливые слова.

— Э, нет, браток, ты так не говори. Нешто ты не слышал?...

— Чего?

— А про заступников то про наших. Про Миколу то Можайского, да про Сергия то Радонежского, да про Савву преподобного, Сторожевского?..

— А что они?

— Пошли они. Пешком ведь пошли по земле по Русской. Разе ты не слышал еще? Как же, пошли уже.

— Зачем пошли?

— А вот, решил было Господь: «Сем-ка я, сгублю варод русский, размечу его, как во древности разметал народ израильский, пусть плачет и умирает он за грехи свои на всех дорогах и на всех перекрестках». Потому, грех велик у него: брат идет на брата, сын на отца, склока да свара везде... Не вмоготу стало Господу терпеть такое дело... И вот стал Он собирать небесные воинства с мечами огненными. «Пошлю, дескать, их на Русскую землю, пусть истребят всех!..» А Сергей то с Миколой и проведали. «Как? Что такое?» Испугались даже. Ну, сейчас же вскричали Савву преподобного — он тоже заступник за землю Русскую не плохой. «Идем спасать. Авось, умолим Го-

спода». Побежали к престолу Господню, пали на колени. «Пощади, Господи!» «Не могу,—говорит Господь,—силов моих больше нет терпеть. Истреблю.» «Пощади, Господи. Заблудились они, загрязли в грехе, но они опоманутся. Греха много, Господи, но и спасенье есть.» «Где спасенье? Какое? Не вижу теперь я». «Есть, Господи, есть. Ты Содому с Гоморой обещаю ради трех праведников пощадить, а в Русской Земле их не трое и не семеро, а тыщи. Только поискать их надо.» «Не вижу,—говорит Господь,—трех праведников не вижу. Все сердца полны злобой, нет им милости от меня». Заплакал Сергей, заплакали Микола и Савва. «Пощади, не губи, мы укажем тебе праведников». Стали перед Господом на колени, плачут, милости просят. Глядел, глядел Господь и говорит: «Ну, будь по вашему. Идите, ищите. Если найдете, пощажу землю Русскую.» «Вот, Господи, ты послал на них голод. Если мы соберем три сумы милостыни, поверишь ли Ты, что еще есть праведники на Русской земле?»

А дьявол (он завсегда там, где дело коснется людских делов) он смеется и говорит: «И куска не найдете. Нашли голодного дурака, чтоб он отдал хлеб нищему». А Господь: «Поверю, говорит, поверю. Если одну суму соберете и так поверю». Перерядились Микола, Сергей и Савва нищими, надели сумочки холщевые и пошли в голодный край за милостыней.

— И как же теперь то?

— А теперь все ходят и собирают. Теперь уж наше дело себя спасти. Будем подавать, будем помогать—спасемся. Не будем, пропала Русская земля.»

Он замолчал. Повозился, повздыхал. И опять заговорил:

— Теперь к кажнему, кто просит, с опаской надо подходить: не один ли это из трех святителей у тебя милостыню то просит? Может ты откажешь, а это Сергей, али Микола, али Савва праведный?.. Подавать надо.

— Поддай, а сам страдай?

— Чтож, и пострадай! Э, браток, была бы душа дела, а там пусть все прахом идет. Был я богатый мужик, семь одоньев еще четыре года назад на гумне стояло, два жеребца по четыре ста целковых у меня были, изба, огород. Иван Миронов богатей был. А теперь—весь я тут. Сума осталась да и та пуста. «Жить то горько, да еще бы пожить столько». Будь благословенны стези Твои, Господи.

*

Золотистый лопушек, лопушек. Золотистый лопушек, лопушек.

— Жрем, что под ногами сэрвем,—сказал Лука.

А глаза сейчас заплачут. Золотистый лопушек. Да.

Раз ели вареву. Кисленькое. Ложки большие—одна на три рта хватит. Кузьмич что то поддел из котелка и в рот. Долго грыз. Лизка захрюкала—засмеялась.

— Брось. Не угложешь. Щепу это. Тятя из щепы велел похлебку сварить.

— А что ж? Все едят, почему же нам не есть? Это—липка, Кузьмич. Ешь, батюшка, сок один. Знаме, щепку что ж есть? В ей нет никакой корысти.

Кузьмич двумя пальцами вынул щепку изо рта и положил на траве возле себя. Все равно... Золотистый лопушек, лопушек..

— Разве весь хлеб с'ели?

— Не весь хоть, а конец видать. Беречь надо.

— Пода-йте Христа ра-а-ди-и...

Сколько их! Со всех сторон окружили. Видят, что едят, и прут и прут сюда.

— Пошли вон, христосики! Головы намылю!—кричит Лизка.

Ого, какая. Может быть, обругается сейчас, как горластые мужики? А чего смотреть, золотистый лопушек?.. Ты бредишь? К черту!..

— Баб, кои без мужиков, не пущать на паром! Их и на той стороне прорва.

— Как это не пущать? А нам куда деться? Чем мы хуже мужиков?

— Эка, сказала. Мы воевали, страду примали, а вы дома на печи сидели, зады грели. Нас немного осталось, нам и надо переехать, а вы после. Ежели вы и подохнете, не велика беда: вас везде невпроворот.

Куда бы уйти? В эти дни продвинулись по берегу сажень на двести, и чужие телеги сжали клещами вязовцов.

— Держись, вязовцы!..

Это Потап кричит. Он и оглоблю припас, чтобы в случае чего... Оглоблей можно ловко... Лизка так про него говорит.

А до конторки ого-го-го!.. и половины не проехали

Лука жалуется:

— Прежде хоть богатые пировали, а мы крохи подбирали, а теперь гонись за крохой, как слепец за блохой. Кто то такую страду вынесет? Зачаврил ты Кузьмич.

— Я ничего.

А сам-рта не разожмет: все больно, и голова пустая, и в пустоте бродят только три слова детской песенки: «Золотистый лопушек, лопушек». Словно три странника в пустыне. Ну, никого больше нет. Никого. Умирать? А, все равно. Вот они под деревьями лежат, с унылыми глазами, вялые, ждут смерти, тупые, как бревна. Им все равно.

— Пожует, пожует и умрет. И хоронить уже перестали. Так, оттащат в сторону и бросят.

— А чего жуют то?

— Травку. Вчера я хоронил одного, у него во рту полно травы. Какую то дикую капусту нашли. Едят.

— Ну да, золотистый лопушек.

— Всю семью вырезали, хлеб отняли, а хлеба то всего фунта три, не боле.

— А как ты думала? Голод закона не знает, через все шагает. Без хлеба не про суп—ществуешь. Дай голоду волю, голод города с'ест, не только семью одну.

Такая маленькая голова у Луки, а мыслей... У, как противно... Он бородой думает. Вот этой, седой и грязной...

— Умирасшь что ли ты, Кузьмич? Господи, вот беда то.

Лука всматривается в желтое истомленное лицо Кузьмича. Вспухло лицо и чудится: если проткнуть пальцем щеку, оттуда не кровь пойдет, а желтая водичка... И Лизка стала жалостливая. В самом деле, разве так плохо?

— Подайте Христа ра-а-ди-и...

— Затрут нас. Вот бы здесь твои то силы.

— Арря! Ва-ау!.. Бей!..

Это пароход «Муравей» с паромом.

— Вязовцы, держись.... Куда прешь? В нашу очередь? Где ты был, сапатый черт? А тонора не хошь протведать?...

Золотистый лопушек, лопушек...

День, ночь, вечер. А сил нет, и Белая Дева не приходит. Спать бы непробудно...

— Грозят. Ежели, говорит, вы не установите правильную череду и будете драться, мы перестанем перевозить. Издыхайте, говорит, окончательно.

— Знамо, перестанут.

— За грехи. Зачем немцев не пустили? Пль они хуже нас?.. Их черед, а их не пустили.

— Немцы—враги России.

— Матушка, оглобенька, вывези...

Никифор, Лизка, Лука, Полкан...

— Где же Полкан то? Полкан!

— Пропал Полкан. Убил кто то и с'ел.

— Со-ба-ку?..

— А что ж? Вон говорят, хохол-хуторянин свою жену с'ел...

— Куда ты, Кузьмич? Сядь... Тятя, я боюсь его. К возу что ли его привязать? Он два дня про лопушек бормочат. Боюсь я, тятя!

— А ты не бойся, дурочка.

— С холщевой котомкой Христос на пути. Куда идти? Куда?

— Бойся человека, которому нечего терять. Как звери стали.

— Навязался на мою голову, пухлый черт...

Золотистый лопушек. Теперь бы сидеть в тени и молчать. Дети что ли поют? Нет, это плачут.

— Будет день, и пулеметами не испугаешь. На нож попрут. Э-э, браток, все равно...

— Он неповоротливый, круто заквашен. Я не вижу ни одного лица. Где Лука? Где Лизка? Почему у Лизки нет бороды? Вечная память, вечная память, вечная память. Проткните щеку, чтобы выпустить желтую водичку. На землю. В песочек.

— Много могиллок, словно кротовины, только побольше. В ивых палки торчат, с перекладинами, вроде креста, а больше так...

— Ты хоронил?

— Трудился для Господа. Силлов то уж нет. А мертвых много.

— Думали ли, гадали, где лежать им доведется? Никто не знает, браток, где кому смерть в глаза глянет. Ни бедный, ни богатый, ни злой, ни добрый. Так то. Одно не хорошо: в степу брошены, зарыты без креста, и никто из родных никогда не узнает,

где они схоронены. В Святой день ко всем на могилку сродственники придут. А к ним уже нет. Не придут. Да, браток, не придут. На всех дорогах, на всех путях посеяны косточки христианские. Возведи их, Господи, посевом добрым в рай Твоем. Мук вечных их избави за те муки, что здесь они принимают. Не вмени, Господи, во грех бескрестность их могилы. Ты видишь ведь, какой мукой мучается народишка наш. Тебе все ведомо.

— А-та, та-та! Бей! Бер-ри! Куда прешь? Убью! В глаза! В душу! В Бога! В печенки! В селезенки! Вдрызг! Ломи!

— Перевоз пришел?

Матушка, огобленька, вывези! Топорик батюшка!..

— Батюшки! Задавили ребеночка! Детку мою задавили...

— Ничего, еще народишь.

* * *

И вот пришел день. Да, это была уже толпа, для которой не осталось ни Бога, ни ада, ни пулеметов, ни тюрьмы, ни расстрелов. Люди, которым нечего терять. А поборешься, может быть, добудешь жизнь. Как знать? И толпа ринулась на паром... Вся. Весь берег.

— Берри!..

Оглобли трещали по черепам. Детей и женщин выбрасывали из возов под ноги взбесившихся лошадей. Визг, проклятия, стоны... И вдруг:

— Уходит! Уходит! Уходит!

Это уже не крик. А стон, полный безнадежности. Звериный вой.

Да, уходит. Между конторкой и паромом полоса воды. Солдаты с ружьями на корме парома... «Муравей» поспешно хлопает плицами. На берегу вздымаются руки со сжатыми кулаками. Трещат телеги.

— Уходит! Уходит! Уходит!

Лизка около поет источно. Кузьмич задрожал. Все ослабело у него — руки, ноги, в груди. И трудно стало дышать.

За дальними холмами садилось солнце. И оттуда, от его огненного глаза, пришла Она. Теперь Она до странности просто глянула на Кузьмича и не улыбнулась. Ее одежды светились белым светом. И только опущенная правая рука туманилась неясно, как прежде. Она шла по водам. Высокая—голова в небе.

И вдруг—Кузьмич это точно видел — над черной толпой, изнемогающей от злобы, появился светлый мальчик с льняными волосами, в длинной до колен рубахе, голоногий. Откуда он? Он вышел из толпы. Из черной, воющей, вон той, что усеяла берег Мальчик ясный, может быть, святой.

Он легко, как дымок, поднялся на воздух и пошел навстречу Белой Деве, смиренно склонив голову. Ему было не больше двенадцати лет. И щека его, видная отсюда, нежно розовела. Светлые кудри чуть закрывали шею. Только странно менялся цвет его рубашки: сперва был красный, как багряница, потом

золотой и теперь голубой. Кто этот мальчик? Знакомый, родной. Будто один из тех, что бегал по берегу вот здесь; вот сегодня утром его видел. Он склонил колени перед Белой Девой и покорно нагнул голову.

И вот случилось чудо. Белая Дева высоко, — в уровень со своим светлым лицом, — подняла правую прежде туманившуюся руку. Теперь Кузьмич ясно увидел: она держала в руке терновый венец. Ветви туго переплелись, и так много шипов было.

Она возложила венец на смиренно склоненную голову мальчика. И в миг из под шипов показались яркие капли крови. И слезы полились из его глаз. Так больно ему было. Но тихо и покорно клонилась его голова.

Вдруг каждая капля его крови и каждая слезинка засветилась неземным светом. Мальчик встал с колен, повернулся и пошел к народу — дико ревущей толпе, из которой он только что вышел. Какое светлое лицо у него было! И сколько радости!

Кузьмич задыхался.

— Умираю! — подумал он.

Без ужаса. Просто подумал. Словно теперь для него было неважно, что он умирает... В вечернем небе звучали чудесные голоса.

Светлый мальчик в терновом венце шел к толпе.

Александр Яковлев.

О Г Л А В Л Е Н И Е:

1. Ф. Сологуб. Три стихотворения 3—7
2. М. Цветаева. Из стихов к Блоку 8—12
3. Г. Чулков. Три стихотворения 13—14
4. Г. Чулков. Мария Гамильтон. Поэма 15—35
5. Б. Зайцев. Душа 39—48
6. М. Осоргин. Пиппо 49—71
7. А. Яковлев. Терновый венец 72—115